

Часть 1 От какого берега мы отчалили

На протяжении всего XX века Россия отходила от традиционных форм демографического и семейного поведения, семейных отношений, которые столетиями верой и правдой служили российскому обществу. Они обеспечивали устойчивое воспроизводство населения России, позволяли восстанавливать его потери в годы исторических испытаний, потому что хорошо согласовывались с формами тогдашней социальной, экономической, политической жизни, были неотъемлемой частью ее системной организации. Нараставшая во второй половине XIX века критика этих форм и отношений означала не то, что они вообще были плохими, а то, что вследствие многосторонних исторических перемен все больше нарушалось прежнее системное соответствие, и меняющееся общество ощутимо искало пути его восстановления. При этом ясно было лишь то, с чем хотело расстаться все большее и большее число людей. А вот к чему, к каким новым формам частной жизни они хотели прийти, — здесь полной ясности не было, да и не могло быть.

Конечно, никогда нет недостатка в разных более или менее утопических предсказаниях, высказывались благие намерения, которые вполне могли и не осуществиться. Но конкретные пути обновления частной жизни могла выработать только массовая историческая практика, предугадать их в подробностях было невозможно.

Одним из идеологических ответов общества на вызов времени стало распространение консервативных утопических чаяний, «утопия прошлого». Для нее характерно неприятие любых перемен, поиски утраченного «золотого века», безудержная идеализация минувшей жизни и несбыточное стремление вернуться к тому, что было.

Казалось бы, кто станет возражать против снижения смертности? Прямо никто и не возражал. Но глубокая консервативная интуиция не могла не чувствовать в этом ключевом для всех демографических перемен повороте серьезной угрозы сложившемуся порядку вещей. Успешная борьба со смертью требует от человека сознательных, «целерациональных» индивидуальных усилий, а неотъемлемая черта всех традиционных крестьянских обществ, в том числе и общинной, «соборной» России, — неодобрительное отношение ко всякой автономной индивидуальной активности. Поэтому и невесть откуда взявшаяся активность в борьбе со смертью еще сто лет назад нередко встречалась в России с неодобрением — она наносила удар по всему ее традиционному мироощущению.

Это неодобрение чувствуется, например, у Льва Толстого и ясно выражается устами персонажей его произведений. Позднышев, герой «Крейцеровой сонаты», осуждает свою жену за беспокойство о здоровье детей: «...Если бы она была совсем животное, она бы так не мучалась; если бы она была совсем человек, то у нее была бы вера в Бога и она бы говорила и думала, как говорят верующие бабы: „Бог дал, Бог и взял, от Бога не уйдешь“. Она бы думала, что жизнь и смерть как всех людей, так и ее детей вне власти людей, а во власти Бога, и тогда бы она

не мучалась тем, что в ее власти было предотвратить болезнь и смерть детей, а она этого не сделала». Высказывания литературного персонажа в этом случае созвучны взглядам самого Толстого, но и он лишь черпает их в глубинных пластах народной культуры.

В другом рассказе Толстого, «Смерть Ивана Ильича», также сталкиваются два принципа в отношении к смерти. Отчаянию умирающего Ивана Ильича и суетности его близких противопоставляется величественно-спокойное отношение к надвигающейся смерти «буфетного мужика» Герасима, который один только «не лгал..., понимал, в чем дело, и не считал нужным скрывать этого». «Все умирать будем», — прямо сказал он Ивану Ильичу и то же повторил уже после его смерти: «Божья воля. Все там же будем». По мысли Толстого, суетная лож окружающих низводит «страшный торжественный акт смерти» до уровня «случайной неприятности», ему явно больше по душе эпическое спокойствие Герасима.

Если, обращаясь к опыту прошлого, к традиции и вере, можно поставить под сомнение даже активность, направленную на сохранение жизни, то что говорить о других переменах, смысл которых далеко не столь очевиден, как смысл снижения смертности.

Сколько усилий было потрачено в России — еще с петровских времен — и государством, и церковью на то, чтобы избавиться от чрезмерно ранних, детских браков, неизбежно бывших к тому же браками по выбору родителей. Но по мысли другого «утописта прошлого», именно к таким бракам и надо было вернуться в XX веке, чтобы спасти распадающуюся семью: «Мысль брака, его религиозная чистота не может быть восстановлена никакими иными средствами, как отодвижением его осуществления к самому раннему (невинному) возрасту... Просматривая канонические книги, мы с удивлением и не без радости нашли, что в классическую пору церкви брак и допускался, у нас и в католических странах, в этот ранний возраст — для девушки в 14–13 лет... Восстановление раннего „чистого“ брака есть альфа восстановления глубоко потрясенной теперь семьи, как универсальность (всеобщность) брачного состояния есть альфа поправления всего потрясенного status quo общества» (Розанов 1990б: 231–232).

Разумеется, ничего подобного не произошло, но и ностальгия по воображаемому прошлому не исчезла, дожила до наших дней и пустила новые ростки уже в конце XX столетия, когда многие авторы из научной и художественной среды стали на разные голоса перепевать ностальгические мотивы «реакционных романтиков» XIX века.

Что же на самом деле осталось на том «демографическом» берегу, от которого Россия отчалила в первые десятилетия XX века?

По данным Всероссийской переписи населения 1897 года, в Российской империи проживало 129 млн. человек, что составляло примерно 8% тогдашнего мирового населения. На долю собственно России в ее нынешних границах приходилось (по оценке на 1900 год) 71 млн. человек — 4,4% всех жителей планеты. И Российская империя, и та ее часть, которая образует сейчас Российскую Федерацию, принадлежали к числу мировых демографических лидеров. Крупнейшая европейская страна того времени — Германия — насчитывала 56 млн. жителей, в США проживало 76 млн. человек, в Японии — 44 млн. (Урланис 1941: 441–415; Dupâquier 1999: 120–123). Только Китай и Индия имели более многочисленное население (свыше 400 млн.

и 200 млн. человек соответственно), но зато их политический вес, в отличие от России, был тогда совсем невелик.

Население России быстро росло. Российская империя почти до самого конца XIX века умножала число своих подданных отчасти за счет новых территориальных приобретений, но население собственно России росло в основном за счет естественного воспроизводства, темпы которого в конце XIX века были весьма высокими и даже увеличивались — в его последнем десятилетии они достигли 1,8–1,9% в год. Темпы роста населения Европейской России, несмотря на то, что она отдавала некоторую его часть в ходе колонизации окраин империи и сельскохозяйственных переселений, по сравнению с первой половиной XIX века (6‰ в год в 1811–1851 годах), выросли вначале вдвое (11–13‰ в 1851–1897 годах), а к концу века — началу следующего — втрое (17‰ в 1897–1913 годах) (Рашин 1956: 26–29). И если судить по этим количественным показателям, можно подумать, что Россия находилась на вершине своего демографического благополучия — особенно на фоне своих тогдашних экономических и политических соперников: население Франции в 1900–1910 годах росло на 2‰ в год, Англии — на 9‰, Германии — на 14‰.

На деле же все обстояло не столь блестяще.

2.1 Затянувшееся отставание

Конец XIX — начало XX века в России были отмечены острым эпидемиологическим кризисом. Это не значит, что положение в России в это время было хуже, чем, скажем, в середине или в начале XIX столетия. Речь идет о кризисе отставания от большинства развитых стран того времени. Как писал в те годы выдающийся российский демограф С. Новосельский, «русская смертность в общем типична для земледельческих и отсталых в санитарном, культурном и экономическом отношениях стран» (Новосельский 1916а: 179).

Между тем, во второй половине XIX века Россия энергично развивалась, и российскому обществу все труднее было мириться с сохранением допотопных санитарно-эпидемиологических условий, структуры заболеваемости и смертности, показателей смертности и продолжительности жизни, которые не соответствовали ни его собственным быстро менявшимся критериям, ни тем более новым критериям, утверждавшимся тогда во многих западных странах. Эти страны уже начинали привыкать ко все более заметному и систематическому снижению смертности, Россия же беспомощно топталась на месте и не могла добиться хотя бы некоторого ее сокращения, до последнего десятилетия XIX века «смертность в России колебалась то в сторону повышения, то в сторону понижения» (Там же, 181).

Построение отвечающей современным научным требованиям российской таблицы смертности стало возможно только после того, как в 1897 году прошла первая всеобщая перепись населения Российской империи. Такая таблица была построена С. Новосельским для населения Европейской России (80% населения империи в 1897 году) за 1896–1897 годы. Таблица Новосельского только подтвердила то, что было известно и ранее и давно уже тревожило относительно узкий тогда круг образованных людей в России, которые начинали задумываться над подобными вопросами.

Темпы вымирания поколений в России были намного более высокими, чем у ее более продвинутых европейских соседей. На рубеже XIX и XX веков в Европейской России из каждых 100 родившихся мальчиков только 70 доживали до одного года, 49 — до 20 лет, 36 — до 50; из каждых 100 родившихся девочек соответственно — 74, 53, и 39. Ожидаемая продолжительность жизни в Европейской России в 1896–1897 годах составляла 31,32 года у мужчин и 33,41 года у женщин. Если же взять только ту часть Европейской России, которая относится сейчас к территории Российской Федерации, то продолжительность жизни была еще меньшей — 29,43 и 31,69 года соответственно (Смертность 1930: 108–111). Лет двести-триста назад подобные показатели можно было считать вполне нормальными, но в начале XX столетия они были уже неоспоримым признаком отставания. Во Франции в это время ожидаемая продолжительность жизни составляла 43,44 года

у мужчин и 47,03 у женщин (1900), в США — 48,23 и 51,08 (1900–1902), в Японии — 43,97 и 44,85 (1899–1903).

Если верить дореволюционной статистике, в конце XIX века основное отличие России от других стран заключалось в чрезвычайно высокой смертности детей, особенно на первом году жизни. В 1896–1900 годах коэффициент младенческой смертности в Европейской России составлял 261 на 1000, тогда как во Франции на первом году жизни из 1000 родившихся умирал только 161 ребенок, в Англии — 156, в Швеции — 100, в США (1901–1905) — 124 (La mortalité 1980: 147–149).

Отличие России от таких стран, как США и Франция, в других возрастных группах не кажется столь существенным, а в возрастах старше 70 лет уровень смертности в России был даже ниже, чем в других странах. Однако не исключено, что относительно низкая смертность взрослого, а особенно пожилого населения — артефакт, порожденный плохим учетом случаев смерти в старших возрастах и/или завышением возраста пожилыми людьми при переписи 1897 года в результате «старческого кокетства» и ошибок, что неизбежно в условиях низкой грамотности населения и отсутствия подтверждающих возраст документов.

Непосредственной причиной сохранения высокой смертности была весьма архаичная для европейской страны того времени структура заболеваемости и связанных с ней причин смерти. На рубеже XIX и XX веков страна не избавилась от эпидемий холеры, оспы, сыпного тифа; даже в годы, свободные от эпидемий, огромная роль принадлежала заболеваниям и причинам смерти экзогенной природы, которые на Западе все больше и больше оказывались под контролем.

В частности, уже в конце XIX века европейские страны очень сильно оторвались от России по смертности от инфекционных болезней (табл. 2.1).

Таблица 2.1. Смертность от некоторых инфекционных болезней в России и странах Западной Европы, 1893–1895, смертей на 100 000

| | Оспа | Скарлатина | Дифтерия | Корь | Коклюш | Брюшной тиф | Все перечисленные инфекции |
|--------------------|------|------------|----------|------|--------|-------------|----------------------------|
| Европейская Россия | 53,0 | 114,0 | 147,0 | 87,0 | 66,0 | 88,0 | 565,0 |
| Австрия | 20,0 | 53,0 | 123,0 | 42,0 | 65,0 | 47,0 | 350,0 |
| Бельгия | 28,0 | 16,0 | 52,0 | 60,0 | 53,0 | 35,0 | 244,0 |
| Германия | 0,2 | 21,0 | 128,0 | 29,0 | 40,0 | 14,0 | 232,2 |
| Италия | 7,0 | 22,0 | 54,0 | 37,0 | 25,0 | 49,0 | 194,0 |
| Шотландия | 2,0 | 20,0 | 42,0 | 55,0 | 53,0 | 19,0 | 191,0 |
| Англия | 3,0 | 20,0 | 21,0 | 41,0 | 30,0 | 20,0 | 145,0 |
| Швеция | 0,3 | 30,0 | 69,0 | 7,0 | 18,0 | 19,0 | 143,0 |
| Голландия | 6,0 | 14,0 | 34,0 | 20,0 | 31,0 | 20,0 | 125,0 |
| Ирландия | 0,5 | 11,0 | 20,0 | 25,0 | 26,0 | 20,0 | 102,5 |

Источник: Россия 1991: 224.

В России инфекционные болезни в это время еще свирепствовали. Более четверти всех обратившихся за медицинской помощью за 1893–1895 годы в Европейской России страдали инфекционными и паразитарными болезнями (сифилис, туберкулез, малярия). Кроме того, 12,8% из общего числа зарегистрированных заболеваний составляли болезни органов пищеварения; 11,9% — болезни органов дыхания;

4,4% — так называемые случаи упадка общего питания; 3,9% — последствия травм (Россия 1991: 201–205). Все эти болезни обуславливали и очень высокую раннюю смертность в России.

2.2

Пассивность перед лицом смерти

Архаичная структура заболеваемости и причин смерти в дореволюционной России, объясняя высокий уровень смертности, сама нуждается в объяснении. Давая такое объяснение, следует указать на экономические, социальные условия, характерные для России конца XIX — начала XX века.

К их числу относятся прежде всего невежество, низкий уровень общей санитарной культуры крестьянского большинства российского населения. Крестьяне в тогдашней России очень часто имели абсолютно средневековые представления об охране здоровья, предупреждении или лечении болезней. Еще в конце XIX века, по этнографическим наблюдениям тех лет, «считая болезни божьим наказанием за грехи, крестьяне переносят [болезни] с покорностью и в это время усерднее молятся Богу». «Важность санитарных мер осознается очень немногими, большинство относится к ним безразлично и даже несочувственно, считая дезинфекцию главной заразой». «При каждой болезни стремятся перепробовать все домашние средства, затем — средства родных и соседей. Потом везут больных к баушкам и лекарям и только после этого, если положение становится хуже, везут в больницу, причем уверены, что больному лучше от этого не будет, но и „хуже-то можа не сделают“. Сами больные больниц остерегаются и просят лечить их дома, по-скольку бытует мнение, что доктора лечат богатых, а бедных — морят». «Баушек народ предпочитает ветеринарам и даже докторам из больниц» (Быт 1993: 269, 282–284).

Причины огромной младенческой смертности во многом коренились в условиях вынашивания плода и родов, ухода за новорожденными, их питания. Земские врачи и статистики видели горестную картину «тех предрассудков, того невежества народа, благодаря коим ребенок деревенской России с первых же дней своей жизни поставлен в самые невыгодные условия ухода вообще и питания в частности» (Глебовский, Гребенщиков 1907: 271). Как правило, «беременная женщина работает практически до начала родов. Вновь начинают работать через три-четыре дня после родов» (Быт 1993: 264). Повсеместно господствовало суеверное представление о необходимости скрывать беременность до последней возможности, поскольку беременную могли сглазить, испортить, оговорить. Скрытность достигала такой степени, что жены не сообщали о беременности даже свои мужьям, а члены семьи продолжали возлагать на женщину те же работы, что и до беременности. В Костромской, Пензенской, Калужской губерниях роженица нередко ходила по избе до полного изнеможения и потери сознания, стучала иногда пятками о порог, ползала вокруг стола и, крестясь, целовала его углы. В Костромской, Вологодской, Смоленской, Калужской, Орловской, Рязанской и др. практиковались такие приемы: подвешивание рожениц за ноги, спускание с постели или полатей по доске вниз головой и стряхивание за ноги: «Если перевернуть роженицу, то и ребеночек перевернется и пойдет головкой»

(Попов 1903: 332–333, 346, 348). «Обычно крестьянка, почувствовав наступающие роды, незаметно от домашних удалялась во двор, где стоял скот, или в сарай, не обращая внимания на время года. Дети при появлении своем на свет Божий падали прямо на замерший навоз двора. По окончании родов роженица клала ребенка в подол своего платья и шла домой» (Лещенко 1999: 134).

«Первые дни рождения ребенка и самый ранний период жизни особым вниманием родителей не отмечены. Ребенку дают соску — завязанный в тряпицу жеваный хлеб — все». «Если ребенок спокоен, то его в рабочую пору оставляют на целый день лежать в колыбели или зыбке. Если ребенок часто плачет, то говорят „оно голодно“ и дают соску из кренделей, манной или гречневой каши; кроме того, ребенка палят в печи, поят маковым настоем, чтобы он заснул. Ребенок причащается засыпать среди шума, крика крестьянского дома. Колыбельных чаще всего не поют, разве что девочки-няньки, матерям же не до песен» (Быт 1993: 265–266).

Конечно, в это время в России существовали уже и врачи, и больницы, но российская система здравоохранения совершенно не отвечала требованиям времени. Обеспеченность врачами в Российской империи к началу XX века была почти в 4 раза меньше, чем в Англии, в 2,5–3 раза меньше, чем в Голландии, Бельгии и Франции (табл. 2.2). Недостаток во врачах в России был особенно ощутим потому, что медицинский персонал был распределен весьма неравномерно: 50% врачей находились в губернских городах, 25% — в уездных и только около 25% — вне городов, т.е. там, где жило подавляющее большинство населения. Малому числу врачей соответствовало и незначительное число больниц: на всю Россию их было всего 3669 (2187 общих и 1782 специальных).

Таблица 2.2. Обеспеченность врачами населения Европейской России и некоторых стран Западной Европы, рубеж XIX и XX веков

| | Число врачей | Врачей на 1 млн. населения | Жителей на 1 врача | Квадратных верст на 1 врача | Радиус района на 1 врача в верстах |
|--------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| Европейская Россия | 13 475 | 155 | 6450 | 1188,25 | 19,4 |
| Норвегия | 502 | 275 | 3630 | 563,5 | 13,4 |
| Австрия | 10 690 | 275 | 3630 | 24,99 | 2,8 |
| Италия | 8580 | 280 | 3570 | 30,87 | 3,15 |
| Испания | 5200 | 305 | 3280 | 86,73 | 5,25 |
| Германия | 16 270 | 355 | 2820 | 29,4 | 3,05 |
| Франция | 14 380 | 380 | 2630 | 32,34 | 3,22 |
| Бельгия | 2160 | 390 | 2540 | 14,21 | 2,1 |
| Голландия | 1860 | 410 | 2440 | 15,68 | 2,2 |
| Великобритания | 22 105 | 578 | 1730 | 8,82 | 1,7 |

Источник: Россия 1991: 225.

Большинство россиян в конце XIX — начале XX века были сельскими жителями, но уже заметноросло и городское население. Городская же инфраструктура была крайне неразвитой. К началу XX века в стране было 133 города с населением 10 тысяч и более жителей (Город и деревня 2001: 74). Но только 20,6% из них имели водопровод, доставляющий воду в дома, расположенные в центральных кварталах города. В Москве водопровод обслуживал только 20% домов. Канализация имела только в 23 крупных городах (Здравоохранение 1978: 371). Поэтому смертность в крупных городах была еще выше, чем по России

в целом. По расчетам М. Птухи, в 1896–1897 годах продолжительность жизни мужчин в Петербурге составляла 25,4 года, женщин — 31,4 года, в Москве соответственно 23,0 и 26,7, в Саратове — 24,2 и 29,4 (Птуха 1960: 341, 342).

Многообразные конкретные причины высокой смертности в России на рубеже XIX и XX веков уже тогда были ясны специалистам. Была достаточно хорошо осознана их экзогенная природа и принципиальная устранимость. Как писал автор того времени, «смертность от большинства болезней есть смерть насильственная, потому что, подобно тому, как полицейскими мерами ограничиваются убийства из-за угла, так точно известными мерами гигиеническими и санитарными можно ослабить свирепствование тифов, дифтерии, оспы и других инфекционных болезней» (Щербаков 1891: 226). Но принятию «известных мер» препятствовали бедность, невежество, антисанитарные условия быта, вредные обычаи ухода за детьми, питания и т.д. По убеждению современников, на снижение смертности нельзя было рассчитывать, «пока не изменятся общие социально-экономические условия жизни страны, пока не изменится к лучшему общий уровень культуры страны, пока мы не переставим расходы на народное образование и на водку» (Иванов 1911: 3).

Все это было совершенно верно, но медлительность отступления смертности в России на рубеже XIX и XX веков, а возможно, и позднее, имела не только экономические и социальные причины, но и более глубокие культурные основания.

Как писал на исходе XIX века русский гигиенист Г. Хлопин, «сознание, что здоровье есть общественное благо, подлежащее защите общества или государства, явилось прежде, чем каждый член общества из развитого чувства самосохранения научился ценить здоровье для себя лично» (Хлопин 1897: 4). В России того времени преобладало именно такое «патерналистское» сознание, индивидуальное же чувство самосохранения было еще очень слабо развито. Сохранялось традиционное пассивное отношение к смерти, тогда как борьба с нею требует неутомимой активности.

Такая активность для этой эпохи — исторически новое явление. На протяжении тысячелетий реальные силы человека в борьбе со смертью, способность общества защитить его жизнь были невелики. Индивидуальные же усилия, направленные на защиту от болезней, их лечение, на противодействие другим угрозам здоровью и жизни были и вовсе малоэффективными. Это лишало смысла активную позицию человека по отношению к смерти.

Перемены наступили только в Новое время, когда европейское развитие мало-помалу изменило соотношение сил человека и смерти. С появлением в Западной Европе ощутимых признаков того, что общество способно защитить человека от ранней смерти, а также с ослаблением, а то и потерей веры в потустороннюю жизнь, смерть все лучше осознается как явный враг, с которым можно и нужно активно бороться. Но, разумеется, прежнее пассивное отношение к смерти и там исчезло не сразу, оно изживалось постепенно в ходе многовекового спора наступавшей культуры городского, буржуазного общества с крестьянской, сельской культурой средневековья.

В России же к началу XX века этот спор еще был далек от завершения, не сложилось еще и новое отношение к болезни и смерти.

Это хорошо видно на примере вопроса о детской смертности, активно обсуждавшегося в предреволюционной России. Образованные люди говорили и писали об этом, пытались растормозить общество, но массовое сознание воспринимало высокую детскую смертность довольно спокойно.

Это спокойствие не было следствием одного лишь невежества. И просвещенные люди долгое время не видели в гибели детей особого повода для беспокойства и даже гордились своей безропотностью. Вот любопытное свидетельство известного мемуариста Андрея Болотова (конец XVIII века). Он пишет о смерти своего сына: «Оспа... похитила у нас сего первенца к великому огорчению его матери. Я и сам хотя и пожертвовал ему несколькими каплями слез, однако перенес сей случай с нарочитым твердодушием: философия моя помогла мне в том, а надежда иметь вскоре опять удовольствие видеть у себя детей, ибо жена моя была опять беременна, помогла нам через короткое время и забыть сие несчастье, буде сие несчастьем назвать можно» (Болотов 1871: 644–645).

Ко второй половине XIX века взгляды образованной части русского общества, возможно, уже несколько изменились, хотя, видимо, ненамного. О крестьянах же и этого сказать нельзя. Приведем типичное крестьянское высказывание, относящееся концу XIX века. «Воля божья. Господь не без милости — моего одного прибрал, — все же легче... Это вы, господа, прандуете детьми; у нас не так: живут — ладно, нет — бог с ними... Теперь, как Бог его прибрал, вольнее мне стало» (Энгельгардт 1960: 95).

Те же фатализм, пассивность, равнодушие к жизни детей нередко звучат в произведениях фольклора — в пословицах («На рать сена не накопишься, на смерть детей не нарожаешься» [Даль 1984: 298]) и даже в колыбельных песнях. Вот одна из них: «Бай, бай, да моли! / Хоть сегодня умри. / Завтра мороз, / Снесут на погост, / Мы поплачем, повоюем, — / В могилу зароем» (Шейн 1878: 10). Разумеется, все это не значит, что родители, особенно матери, были равнодушны к жизни своих детей или желали им смерти — и художественная, и очерковая литература XIX века не раз обращалась к теме горьких страданий женщины, потерявшей ребенка. «Уж двадцать лет, как Демушка дерновым одеялечком прикрыт, — все жаль сердечного!» — рассказывает потерявшая ребенка крестьянка в поэме Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». А исследовавшая русские колыбельные песни А. Мартынова отмечает, что среди изученных ею 1800 колыбельных большинство выражает материнскую любовь и только 80 (менее 5%) содержат пожелание младенцам смерти. Но все же, анализируя географическое распределение и время записи этих песен, она приходит к выводу, что эти малочисленные записи не случайны и содержащийся в них мотив устойчив (Мартынова 1975: 145–146).

Впрочем, все это относится не только к детям. Несколькоми страницами ранее мы приводили слова толстовского персонажа, фиксирующие достаточно пассивное отношение к сохранению человеческой жизни вообще. Конечно, потеря взрослого кормильца более тяжело отзывалась на семье, поэтому «уход за больным различен, но общее правило таково: чем нужнее больной для семьи, тем тщательнее за ним уход. Поэтому о стариках за глаза можно услышать: „Ну пожил и будет — умирать пора“, а о детях: „Умрут, так новые народятся“» (Быт 1993: 284–285). Но это не опровергает того факта, что во взглядах

на смерть и на возможности борьбы с нею преобладало пассивное смирение перед смертью, неверие в возможность ей противостоять и в то же время нередко прямо пренебрежительное отношение к жизни, ее малая ценность, религиозное видение смерти не как конца жизни, а как перехода в иной мир и т.д. («Я не ропщу, — сказала я, — что Бог прибрал младенчика», — говорит та же мать Демущки в поэме Некрасова). Все эти черты — прямое следствие примитивных условий существования человека прошлого, неумения бороться за сохранение жизни, бессилия что-либо в ней изменить. «Если бы он знал, — писал Г. Успенский о русском крестьянине, — ...что он может жалеть своих детей, умирающих теперь безо всякого внимания сотнями, тысячами..., что ему, мужику, можно заботиться вообще о себе, о своей семье, жене, детях, он бы давно заорал на весь мир... Он думает, что ничего этого ему нельзя...» (Успенский 1956б: 463). Обобщая свои наблюдения жизни русской деревни в концепции «власти земли», «ржаного поля», предписывающего все нормы поведения крестьянина, Успенский писал: «Ржаное поле имеет дело только с живым и сильным, а до мертвого, до слабого, до погибающего ему нет дела...». Крестьянин привык выполнять приказания «ржаного поля и привык погибать, также исполняя с точностью свою погибель, раз она этим ржаным полем ему предудказана» (Успенский 1956г: 260).

Эти слова Г. Успенского, их интонация — свидетельство того, что в конце XIX века, когда «образованным классам» России стали видны первые реальные возможности борьбы со смертью, пассивность большинства населения в этой борьбе с болью воспринималась тогдашней общественной мыслью. Но и преодолеть ее было не так просто. Отношение к смерти — одно из фундаментальных звеньев культурной традиции, оно не может измениться за один день, не может пройти безболезненно. А упоминавшиеся произведения Толстого — свидетельство того, что не все считали такое изменение желательным.

2.3

Начало перемен

Бедность и невежество населения, нехватка врачей, отсутствие элементарных медицинских услуг, новых технологий борьбы со смертью, которые уже получили довольно большое развитие на Западе, психология пассивности — все эти несомненные препятствия модернизации смертности в России хорошо осознавались общественным мнением, в предреволюционную пору служили одним из главных доводов в пользу скорейших социальных перемен. Между тем, нельзя сказать, что и тогда совсем ничего не менялось. В самом конце XIX столетия уже забрезжили первые признаки демографической модернизации. Под влиянием быстро развивавшегося капитализма в жизни населения наметились некоторые положительные изменения, которые затронули и условия смертности. Развитие промышленности и торговли, рост городов, увеличение подвижности населения способствовали постепенному отходу от патриархального жизненного уклада русской деревни, создавали определенные предпосылки для ограничения — пусть вначале и не большого — действия экзогенных факторов смертности.

Очень медленно, но все же росла грамотность населения. По данным, опубликованным перед революцией Министерством народного

просвещения, доля учащихся среди детей в возрасте от 7 до 14 лет с 1881 по 1914 год увеличилась с 8,7% до 23,8% (Рашин 1956: 318). Уже перепись 1897 года показала, что среди младших поколений грамотных значительно больше, чем среди старших. Если среди 50–59-летних их было всего 18,7%, то среди 20–29-летних — 32,3% (Там же, 304, 310). Доля грамотных среди принятых на военную службу с 1874 по 1913 год увеличилась более чем втрое — с 21,4% до 67,8% (Там же, 304). Следует, правда, учитывать, что грамотность среди мужчин была намного (более чем вдвое) выше, чем среди женщин.

Происходили некоторые улучшения в медицинском обслуживании. Стала вырисовываться более или менее целостная система здравоохранения. Она складывалась из трех основных составляющих: земской медицины, которая оказывала медицинскую помощь сельскому населению (в то время — около 85% населения страны); фабрично-заводская медицина, оказывавшая медицинскую помощь рабочим, и городская медицина, которая находилась в ведении городского самоуправления. Кроме того, в больших городах, прежде всего в Москве и Петербурге, достаточно широко была развита частная медицинская практика, но она была доступна ограниченному числу людей.

Все эти составные части системы здравоохранения были несовершенны, постоянно подвергались критике за неразвитость и неэффективность. Но все же уже в самом конце XIX — первом десятилетии XX века наметилось весьма заметное по тем временам улучшение и инфраструктуры системы охраны здоровья, и показателей смертности и продолжительности жизни. Для иллюстрации можно привести данные о развитии врачебной сети земской медицины (табл. 2.3).

Таблица 2.3. Развитие земских медицинских учреждений России, 1870 и 1910

| | 1870 | 1910 |
|--|--------|--------|
| Число врачебных участков | 530 | 2686 |
| Из них: | | |
| Амбулаторных | 135 | 641 |
| Больничных в сельской местности | 70 | 1715 |
| Больничных в уездных городах | 325 | 330 |
| Средний радиус обслуживания (в верстах) | 39 | 17 |
| Население на один врачебный участок | 95 000 | 28 000 |
| Число селений в среднем врачебном участке | 550 | 105 |
| Число коек на 10 000 жителей | 1,5 | 4,8 |
| Число самостоятельных фельдшерских пунктов | 1350 | 2620 |
| Отношение числа фельдшерских пунктов к врачебным | 2,5:1 | 1:1 |
| Число врачей на службе уездных земств | 610 | 3100 |
| Из них в сельской местности | 240 | 2335 |

Источник: Баткис, Лекарев 1961: 43.

Хотя происходившие перемены были небольшими и совершались очень медленно, они создали определенные предпосылки для того, чтобы смог начаться процесс первостепенной важности — перестройка структуры причин смерти, ограничение действия ее наиболее опасных экзогенных факторов. Об этом свидетельствует, в частности, динамика смертности от инфекционных болезней на рубеже веков, о которой имеются некоторые данные (табл. 2.4).

Можно предположить, что одновременно шло снижение смертности и от других причин экзогенной природы, в частности тех, от которых

погибали в основном маленькие дети. Именно снижение детской смертности в этот период было наибольшим. По оценке С. Новосельского, за счет снижения смертности между 1896–1897 и 1907–1908 годами в 1907–1908 годы в России умерло меньше на 914,2 тыс. человек, в том числе на 857,7 тыс. меньше детей в возрасте до 5 лет (Новосельский 1916б: 183).

Таблица 2.4. Число умерших в России от некоторых инфекционных болезней, 1891–1914

| | Скарлатина, дифтерия, корь, коклюш | Оспа | Тифы |
|-----------|---------------------------------------|--------|---------|
| 1891–1895 | 403 777 | 72 703 | 112 995 |
| 1896–1900 | 365 008 | 57 240 | 78 062 |
| 1901–1905 | 346 719 | 41 930 | 78 378 |
| 1906–1910 | 308 338 | 41 993 | 72 749 |
| 1911–1914 | 284 997 | 29 063 | 60 249 |

Источник: Новосельский 1916а: 182, 184.

Анализируя динамику общего коэффициента смертности с 1867 года, С. Новосельский писал в 1914 году, что «до 1888–1892 годов смертность значительно колебалась то в сторону понижения, то в сторону повышения. Начиная же с 1892 года смертность по пятилетиям стала довольно плавно понижаться». И далее: «Смертность обнаруживает понижение как в грудном возрасте, до 1 года, так и в возрастах выше 1 года, причем понижение смертности в грудном возрасте происходит медленнее понижения ее в возрастах старше 1 года... Одной из главных непосредственных причин понижения смертности является понижение смертности от острозаразных болезней... Главной обшей причиной понижения смертности следует признать повышение культурного уровня населения» (Новосельский 1978: 123, 127).

О заметных позитивных сдвигах в это время говорят и имеющиеся оценки ожидаемой продолжительности жизни. Построенная С. Новосельским таблица смертности населения Европейской России 1896–1897 годов, давая много для понимания особенностей смертности населения России в конце XIX века, не позволяла анализировать динамику смертности. Позднее в целях такого анализа С. Новосельский и В. Паевский воспользовались таблицей смертности православного населения Европейской России за 1874–1883 годы, построенной В.И. Борткевичем по методу В. Буняковского (менее совершенному, чем так называемый «демографический» метод, который применяется при построении современных таблиц смертности и по которому была построена таблица С. Новосельского для 1896–1897 годов). Точно таким же методом Буняковского для того же православного населения Европейской России были построены еще две таблицы — по данным за 1896–1897 и 1907–1910 годы (в 1897 году православное население — в основном русские, украинцы и белорусы — составляло 84% всего населения Европейской России). Получилось три полностью сопоставимые таблицы смертности, охватывающие период в три с половиной десятилетия и позволяющие судить об эволюции смертности за это время. Их сравнение указывает на явный рост продолжительности жизни, хотя она все еще оставалась очень низкой (табл. 2.5)

Таблица 2.5. Ожидаемая продолжительность жизни православного населения Европейской России, 1874–1910, лет

| | 1874–1883 | 1896–1897 | 1907–1910 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| Мужчины | 26,31 | 30,07 | 31,90 |
| Женщины | 29,05 | 31,90 | 33,98 |

Источник: Паевский 1970: 290.

Судя по многим признакам, снижение смертности стало достаточно заметным не ранее 1890 года, но с тех пор оно быстро распространялось по всей стране (табл. 2.6).

Таблица 2.6. Снижение смертности по губерниям Европейской России, 1861–1913

| | Коэффициент смертности в среднем по России, % | Число губерний с коэффициентом смертности (в ‰) | | | | | |
|------------|---|--|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | свыше 40 | 35–40 | 30–35 | 25–30 | 20–25 | менее 20 |
| 1861–1865* | 36,5 | 14 | 17 | 7 | 9 | 2 | – |
| 1871–1875 | 37,1 | 8 | 24 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 1881–1885 | 36,4 | 13 | 14 | 12 | 7 | 3 | 1 |
| 1891–1895 | 26,2 | 12 | 10 | 14 | 9 | 3 | 2 |
| 1901–1905 | 31,0 | 2 | 9 | 17 | 10 | 9 | 3 |
| 1911–1913 | 27,1 | 1 | 2 | 10 | 16 | 11 | 10 |

* 49 губерний.

Источник: Рашин 1956: 187–188.

Конечно, изменения в смертности даже в самом конце XIX и в начале XX века были непоследовательными, противоречивыми. Это подтверждается более детальным анализом таблиц смертности православного населения (табл. 2.7).

Таблица 2.7. Возрастные вероятности смерти (1000 ч.) православного населения Европейской России, 1874–1910

| Возраст (х) | Мужчины | | | Женщины | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1874–1883 | 1896–1897 | 1907–1910 | 1874–1883 | 1896–1897 | 1907–1910 |
| 0 | 327,2 | 302,9 | 275,6 | 283,3 | 265,1 | 243,1 |
| 5 | 27,0 | 20,0 | 17,2 | 24,8 | 20,1 | 17,0 |
| 10 | 8,1 | 6,4 | 5,9 | 7,0 | 6,2 | 5,7 |
| 15 | 6,1 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,4 | 6,6 |
| 20 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | 7,4 | 8,6 | 8,9 |
| 25 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 9,7 | 9,7 |
| 30 | 9,6 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 10,3 | 10,2 |
| 35 | 11,3 | 10,6 | 11,2 | 11,4 | 11,1 | 11,3 |
| 40 | 14,4 | 13,7 | 14,5 | 13,5 | 12,9 | 13,1 |
| 45 | 18,5 | 16,7 | 17,2 | 16,5 | 14,3 | 14,1 |
| 50 | 23,6 | 20,5 | 22,1 | 21,8 | 17,5 | 17,5 |
| 55 | 32,5 | 26,7 | 28,9 | 32,4 | 24,6 | 24,4 |
| 60 | 47,7 | 37,4 | 37,7 | 49,1 | 37,3 | 34,7 |
| 65 | 65,3 | 52,7 | 51,1 | 68,3 | 55,0 | 49,7 |
| 70 | 83,5 | 73,8 | 69,9 | 88,3 | 78,1 | 69,6 |
| 75 | 114,7 | 108,6 | 100,2 | 115,9 | 110,7 | 98,6 |
| 80 | 150,0 | 144,3 | 122,8 | 146,4 | 137,3 | 119,8 |

Источник: Смертность 1930: 124–125, 128–129, 132–133.

На протяжении всего 35-летнего периода в возрастах до 15 лет, как у мужчин, так и у женщин, наблюдалось медленное снижение возрастных вероятностей смерти. Эта тенденция характерна и для возрастов старше 60 лет. В основных рабочих возрастах динамика не столь

однозначна, после 1896–1897 годов у мужчин, скорее, преобладает рост смертности, в некоторых возрастах он наблюдается и у женщин. Соответственно, при росте средней продолжительности жизни в младших и старших возрастах, в средних возрастах (20, 30, 40 лет) у мужчин отмечено ее незначительное снижение, а у женщин рост хотя и сохраняется, но идет значительно медленнее, чем в предыдущее двадцатилетие. С такого рода непоследовательностью России, увы, придется сталкиваться и в последующем. Тем не менее, общая позитивная тенденция снижения смертности в России начала XX века налицо.

Война, а затем революция на время прервали начавшийся эволюционный процесс модернизации российской смертности, который затем продолжился уже в новых условиях.

XX век Россия встретила с одним из самых высоких в мировой истории уровнем рождаемости. На рубеже столетий общий коэффициент рождаемости по 50 губерниям Европейской России был близок к 50 на тысячу человек населения (Рашин 1956: 168), тогда как в западноевропейских странах он колебался вокруг 30 на тысячу. Показатель итоговой (суммарной) рождаемости (число рождений на одну женщину), по некоторым оценкам, превышал 7 (Kuczynski 1969: 213), число рождений на одну женщину, состоявшую в браке на протяжении всего периода плодovitости, было больше 9 (Вишневский 1977: 132–133). Б. Миронов, обобщив различные локальные исследования второй половины XIX века, пришел к выводу, что среднее количество родов, приходившееся на одну крестьянскую женщину без учета брачного состояния, составляло в России 7–9, а для замужней женщины при благоприятных обстоятельствах число родов в среднем должно было составлять 8–10 (Миронов 1977: 95–96).

3.1 Российская рождаемость накануне демографического перехода

По уровню рождаемости в это время Россия сильно отличалась от большинства стран европейской культуры. Это отличие было двойным.

Во-первых, Россия еще не знала массового внутрисемейного контроля рождаемости. Правда, еще совсем недавно, до 1870-х годов, он не был распространен на массовом уровне нигде — ни в Европе, ни в океанских странах европейской культуры, несмотря на то, что процессы урбанизации и индустриализации к этому времени набрали там высокие темпы. Лишь отдельные социальные группы, такие как аристократия, верхние слои городской буржуазии и интеллектуальная элита, с конца XVIII века обнаруживают стремление ограничиться меньшим числом детей в своих семьях (Livi-Bacci 1986: 182–200). Только Франция давно перешла к такому ограничению на национальном уровне, и уже к 1830 году показатели итоговой рождаемости снизились здесь более чем на 10%¹.

В последней четверти XIX века к различным методам внутрисемейного контроля рождаемости начинают прибегать все более широкие слои населения и в других европейских странах, и там, вслед за Францией, начинается быстрое снижение брачной рождаемости (Вишневский 1976: 155–159). Но в России в конце XIX века «эти процессы, по-видимому, пока почти не затронули уровня брачной рождаемости — ее индекс оставался самым высоким в Европе, выше даже, чем в католической Ирландии, славившейся неприятием ограничения рождаемости в браке» (Вишневский 1977: 132).

Во-вторых, как показано в главе 4, Россия не знала поздней «европейской» брачности. До распространения методов внутрисемейного контроля деторождения рождаемость в браке в европейских странах

1

О причинах раннего распространения внутрисемейного контроля рождаемости во Франции см., например: Бродель 1995: 170–182.

была высокой, но в брак там вступали относительно поздно. А чем меньше число женщин состоит в браке в молодом возрасте и чем меньше следовательно период, на протяжении которого они находятся под риском беременности, тем меньше уровень итоговой рождаемости в среднем на одну женщину. Внебрачная же рождаемость была в одинаковой степени малораспространенным явлением и на западе и на востоке Европы. В России в конце XIX века она составляла менее 3% от общего числа рождений (Там же, 130) и находилась примерно на том же или даже более низком уровне, что и в западноевропейских странах (Vichnevsky, Zakharov 1995: 478).

Не удивительно, что среднее число рождений на одну женщину в России с характерной для нее ранней и всеобщей брачностью было существенно выше, чем в странах «европейского» типа брачности даже и до распространения в них внутрисемейного регулирования рождаемости: 7,5 рождений в среднем на одну женщину в России против 5 в Европе.

К концу XIX века в России уже появились признаки изменений как в матримониальном, так и в прокреативном поведении людей. Анализ с помощью так называемых индексов Коула (Коул 1979) показал, что главным фактором, обусловившим дифференциацию рождаемости, возможно, свидетельствовавшую о начавшихся переменах, были особенности брачной структуры у разных частей населения России, тогда как рождаемость в браке почти повсеместно оставалась очень высокой. Самым высоким в Европе — более высоким, чем даже в таких странах, как Румыния, Сербия и Болгария, — был и рассчитанный для 50 губерний Европейской России индекс общей рождаемости (Вишневский 1979: 130–134). Даже в 1914 году, когда С. Новосельский уже с определенностью писал о начавшемся в России снижении рождаемости, он отмечал, что «в России рождаемость, несмотря на понижение, весьма высока» (Новосельский 1978: 127).

3.2

Многодетность или многоплодность?

Итак, высокая рождаемость в России вплоть до конца XIX века — неоспоримый факт, и именно это часто имеют в виду, когда говорят о былой многодетности русских семей. Но если быть ближе к современному словоупотреблению, то понятия высокой рождаемости и многодетности следует развести. Ибо, несмотря на большое число рожденных, большое число реально выживающих и, стало быть, живущих в семье детей в прошлом было редкостью. «Коль много есть столь несчастливых родителей, кои до 10 и 15 детей родили, а в живых ни единого не осталось?» — писал еще Ломоносов (1952: 391).

Как показали многочисленные исследования в разных странах, в том числе и в России, в прошлом среднее число живущих в семье детей, даже и при высокой рождаемости, никогда не было большим (Вишневский 1982: 165–167). Так было и в России. В. Александров, основываясь на данных Я. Водарского и других исследователей, приходит к выводу, что в России «с конца XV века вплоть до середины XIX века... крестьянская семья по своей численности не претерпевала принципиальных изменений. В северо-западных районах она находилась в стабильном состоянии, колеблясь в среднем от 5 до 7 душ обоего пола; в западных районах — от 7 душ в 1678 году до 8 душ; в Нечерноземном центре

с начала XVII в. она возросла с 4–5 душ до 7 душ; в Поморье колебания с середины XVI века наблюдались с 5 до 7 душ; в Поволжье — между 5 и 8 душами и, наконец, в Черноземном центре ее численность со второй половины XVII века до середины XIX века была наибольшей — 8–10 душ» (Александров 1984: 57). Учитывая, что в России всегда было немало сложных, неразделенных семей, в которых могли жить, скажем, несколько братьев со своими женами и детьми, такие размеры семьи не дают оснований говорить о широко распространенной многодетности. Впрочем, на это же указывают и прямые оценки распределения семей по числу живущих в них на момент учета детей — таких оценок в исторической литературе имеется довольно много. «Число детей редко превышало шесть человек. Естественно, что встречались семьи и с большим числом детей — от 7 до 11, но таких было совсем немного — около 2%. Наиболее же характерны семьи, имеющие одного-трех детей: у монастырских крестьян их 71,8%, а у помещичьих — 67,7%» (Бакланова 1976: 20–21). «В памятниках личного происхождения можно встретить сведения о семье из пяти человек (муж, жена и трое сыновей) как многодетной („человек добр и жена его добра, только он *семьист*, три мальчика у него“»)» (Пушкарева 1997: 69). Даже если сделать оговорку, что девочки могли быть проигнорированы как существа, не достойные упоминания, так что в семье могло быть не трое, а, скажем, шестеро детей, такое определение многодетности не слишком отличается от современного, и, судя по тону, речь идет о факте не слишком частом.

Конечно, к началу XX века смертность была уже не столь высока, как в первой половине XVIII, во времена Ломоносова. Положение хотя и медленно, но менялось — по крайней мере, во второй половине XIX века, — и число выживающих детей стало увеличиваться. На это указывают и уже упоминавшееся ускорение роста населения, и приведенные в таблицах Приложения расчетные оценки числа детей, доживающих до разных возрастов. Но все же, как видно из таблицы 3.1, и в конце XIX столетия высокая смертность сохраняла в России свое значение важнейшего демографического регулятора, сводившего на нет эффект очень высокой рождаемости. У женщин, появившихся на свет в 1860-х годах, сразу после отмены крепостного права, и рождавших детей в 1880–1890-х годах, до достижения 20-летнего возраста умирало больше половины детей.

Таблица 3.1. Доля детей, доживающих до возраста 1 год, 10, 15 и 20 лет, у разных поколений матерей, %

| Год рождения матери | Возраст детей | | | |
|---------------------|---------------|--------|--------|--------|
| | 1 год | 10 лет | 15 лет | 20 лет |
| 1841–1845 | 66,1 | 46,6 | 45,2 | 43,7 |
| 1846–1850 | 66,2 | 46,8 | 45,4 | 43,8 |
| 1851–1855 | 66,5 | 47,0 | 45,6 | 43,9 |
| 1856–1860 | 66,9 | 47,7 | 46,3 | 44,0 |
| 1861–1865 | 67,6 | 48,7 | 47,1 | 44,5 |
| 1866–1870 | 68,5 | 49,9 | 48,2 | 45,3 |
| 1871–1875 | 69,8 | 51,1 | 49,1 | 46,3 |
| 1876–1880 | 71,2 | 52,3 | 50,4 | 47,2 |
| 1881–1885 | 72,3 | 53,2 | 51,3 | 47,9 |
| 1886–1890 | 73,0 | 53,9 | 52,3 | 48,8 |
| 1891–1895 | 73,3 | 54,7 | 53,3 | 49,5 |
| 1896–1900 | 73,2 | 55,8 | 54,5 | 50,7 |

Источник: таблицы Приложения.

Характерное для России соотношение числа родившихся и умирающих до тех или иных возрастов на исходе XIX столетия уже резко контрастировало с положением во многих западных странах и воспринималось как признак российской отсталости. «Существующий... уровень рождаемости...», — писал в начале XX века П. Куркин, — чрезмерно далеко отстоит от той ее нормы, при которой наибольший прирост населения достигается с наименьшими потерями, неизбежными в деле производства потомства... Есть полное основание... ожидать, что... улучшение экономических, гигиенических и т.д. условий... у нас в России, скорее всего, должно привести к понижению рождаемости..., к достижению той ее наиболее полезной нормы, которая обеспечила бы как удовлетворительный прирост, так и сохранение бесполезно растрачиваемых в настоящее время производительных сил населения и создание более крепкого и жизнеспособного потомства» (Куркин 1902: 87).

3.3 Была ли многодетность желанной?

Впреки тому, что часто пишут в современной демографической литературе — и отечественной, и мировой, — многодетность в прошлом была не только редкой, но и не особенно желанной.

Это утверждение как будто противоречит всему, что известно об отношении к рождению детей в былые времена. На протяжении столетий для русской культуры была характерна ярко выраженная пронаталистская ориентация. Религиозные предписания, народные представления и обычаи, карпогенические обряды — все подчеркивало желательность рождения детей, бездетность рассматривалась как несчастье и т.п. «У кого детей нет, во грехе живет» (Даль 1984: 297), — пословица точно отражала народные взгляды на этот счет. Православие считало рождение детей единственным оправданием половой жизни в браке. Во многих пословицах в весьма одобрительных тонах рисуется образ многодетной семьи: «У кого детей много, тот не забывает Бога», «Один сын — не сын, два сына — полсына, три сына — сын» (Там же, 298). Таков же обычный мотив колыбельных песен: «Бай-бай! Бай-бай! Семерых Бог дай!» (Мартынова 1975: 145) и т.д.

Однако современные демографы часто не довольствуются признанием несомненных пронаталистских установок традиционной культуры и пытаются подвести под них понятное современному человеку рациональное основание — прежде всего экономическое. Широко распространено противопоставление былой экономической заинтересованности и нынешней незаинтересованности родителей в большом числе детей (Сови II: 180; Коул 1979: 94; Борисов 1976: 183). Считается, что в результате общих социально-экономических изменений в современном мире дети из носителей экономических преимуществ превратились в экономическую обузу. Особой популярностью пользуется теория австралийского демографа Дж. Колдуэлла: межпоколенный поток экономических благ, который во всех традиционных обществах направлен от младших поколений к старшим, в современных обществах меняет направление на 180 градусов, что приводит к потере заинтересованности родителей в рождении детей (Caldwell 1976: 345).

Нет ли в этом теоретическом представлении, так же как и в некритическом отождествлении идеальных пронаталистских установок

культуры с реальным поведением людей минувших эпох, дани все той же утопии прошлого, идеологического клише утраченного «золотого века» многодетности?

В той мере, в какой источники и конкретный анализ позволяют судить об истинном положении дел и о его отражении в рефлексии современников, это клише скорее опровергается, нежели подтверждается, — по крайней мере, в отношении России второй половины XIX века. Это было время, когда, с одной стороны, начала быстро изменяться социальная пирамида населения и все более явственно обозначался рост его потребностей, а с другой, первые признаки демографического перехода дали знать о себе увеличением числа выживающих детей. По мере того, как эти две противоречащие друг другу тенденции набирали силу, нарастала и рефлексия по поводу тягот высокой рождаемости и многодетности, о них все чаще стали задумываться и представители «образованных классов», и, что особенно важно, крестьяне, составлявшие большинство населения России. В литературе того времени — у Льва Толстого, Глеба Успенского, Александра Энгельгардта, равно как и у менее известных авторов, изучавших жизнь русской деревни, — имеется множество свидетельств на этот счет. И на первый план выходили обычно именно экономические трудности.

Конечно, увеличение числа детей означало для семьи и увеличение числа рабочих рук и могло способствовать ее экономическому благосостоянию. Но почему-то в литературе намного чаще встречаются свидетельства того, что рождение детей, особенно когда оно вело к многодетности, далеко не всегда рассматривалось как благо. Многие народные пословицы, явно снижая звучание пронаталистского камертона, иронизируют по поводу многодетности, а иногда выражают и ее явное неодобрение: «Ребята, что мокрицы, от сырости разводятся», «Был бы коваль да ковалиха — будет и этого лиха», «Прежде одну сынью кормили, а теперь с поросятами» (о снохе) и даже: «Хороши ягоды с проборцем, а дети с проморцем» (Даль 1984: 297–298). Заботит именно многодетность, о чем прямо говорится и в фольклорных источниках, и в свидетельствах современников: «Каб вы, деточки, часто сеялись, да редко всходили!» — взывала не лишенная юмора крестьянская поговорка (Ивановская 1908: 119).

Исследователь начала XX века отмечает: «Положение в семье первых по рождению детей рисуется в более привлекательном свете, нежели последующих. Их рождение встречается с большой радостью» (Там же). «Первые детки — соколятки, последние — воронятки», — гласила пословица (Даль 1984: 298). Об этом же свидетельствуют современники. Один из них отмечает, что «крайняя тягость для матери, возникающая прямо из крестьянского быта,.... заставляет ее иногда избегать зачатия и беременности» (Гиляровский 1866: 122), — к этому вопросу мы еще вернемся. Другой пишет, что первого ребенка «еще ждут более или менее радостно... К дочери отец относится совершенно равнодушно, такое же отношение, впрочем, проявляет и ко второму и третьему сыну. Матери же начинают обыкновенно тяготиться уже третьим ребенком... Если баба начинает часто родить, то в семье к этому, конечно, относятся неодобрительно, не стесняясь иногда делать грубые замечания по этому поводу: „Ишь, плодливая, обклаталась детьми, как зайчиха. Хоть бы подохли они, щенки-то, трясет каждый год, опять щенка ошлепетила“ и т.д.» (Семенова-Тян-Шанская 1914: 7–8).

«Прижитие детей вводит немедленно в каждое семейство разные отношения, которые порождают между ними совершенное неравенство, как в отношении нужд, так и в отношении рабочих сил... Так как число детей и возраст их в каждой семье различен, то вместе с детьми возникает между домохозяевами глубокое различие состояния; оно доходит до таких крайностей, что вовсе изменяет все условия хозяйства» (Васильчиков 1881: 38). Очень часто крестьянской семье с детьми «приходилось пережить трудный период, прежде чем она могла достичь относительного благополучия. Как ни рано крестьянские дети начинали помогать взрослым, это время наступало не сразу... Чем больше было несовершеннолетних детей, тем тяжелее было материальное положение семьи. Время до того, как первые дети станут взрослыми, было очень тяжелым в жизни семьи, и этот период она могла и обеднеть. Если на семью со многими малолетними детьми обрушивалось несчастье, скажем смерть главы семьи, что было не такой уж редкостью, ее экономическое положение оказывалось отчаянным» (Мионов 1977: 99).

Сегодняшние авторы, связывающие высокую рождаемость в прошлом с трудовым вкладом детей в благосостояние семьи, несомненно, склонны к преувеличению этого вклада. Действительно, относительная зажиточность семьи могла быть в какой-то мере следствием большого числа взрослых работников. А малые дети не только сами не были работниками, но еще отвлекали от работы женщин. Если исходить из демографических реалий, определяемых режимами рождаемости и смертности того времени, то нельзя не прийти к выводу, что, находясь в возрасте максимальной трудовой активности (30–40 лет), среднестатистические родители могли опираться на помощь лишь одного-двоих детей в возрасте 10 лет и старше. Третий 10-летний помощник в семье появлялся, когда его мать находилась в возрасте 50 лет и старше (подробнее об этом см. в разделе 21.1). К этому времени его старшие братья выделялись в самостоятельное хозяйство или служили в армии, а сестры уходили из семьи. На долю этого третьего сына или дочери выпадала функция заботы о стареющих родителях. Ни о какой многочисленной детской рабочей силе в нуклеарной семье, состоящей из одной брачной пары, речь идти не может.

Если доходы от трудовой деятельности детей часто преувеличиваются, то расходы на них, напротив, преуменьшаются. Разумеется, воспитание детей в XIX веке требовало намного меньших средств, чем сейчас, но ведь и возможности были иными. Крестьянам их расходы на детей не казались ничтожными. А. Энгельгардт передает разговор с крестьянкой, которая благодарит бога за то, что у нее умер ребенок: «„Ведь он грудной был, хлеба не просил?“ — удивляется автор. — „Конечно, грудной хлеба не просит, да ведь меня тянет тоже... Теперь, как Бог его прибрал, вольнее мне стало.“» (Энгельгардт 1987: 121–122). Об этом же говорят и многочисленные наблюдения Г. Успенского, например его рассказ о том, как разорившийся крестьянин «пошел на поправку» благодаря гибели трех его маленьких детей, причем эта «поправка» была предсказана односельчанами, узнавшими о трагедии: «Горе, горе, что говорить! А что Алексе все полегче станет — это верно, потому как же?... куда с этакой оравой ребят выбиваться... А теперича, пожалуй что, и на поправку должен пойтить...» (Успенский 1956г: 259). «Когда ребенок умирает в бедной и многодетной семье, считается счастьем, что его Бог прибрал» (Быт 1993: 283).

Сходное отношение к экономическим тяготам, связанным с воспитанием детей, мы находим и в фольклоре. Автор, изучавший, как отношение к детям отразилось в русских, украинских и белорусских пословицах и поговорках, отмечал, что, по народным представлениям, «чисто материальный вопрос о содержании нового члена семьи не должен беспокоить родителей» (Ивановская 1908: 116): «Дал Бог роточек, даст и кусочек», «Много бывает, а лишних не бывает. Много есть, да лишних нет» (Даль 1984: 298). Тем не менее в изобилии и пословицы, свидетельствующие о том, что «воспитание детей тяжело отзывается на материальном благосостоянии родителей» (Ивановская 1908: 17): «Сын да дочь, да и тех кормить невмочь» (Даль 1984: 298), «Одно взять — или детки водить, или деньги копить», «У богатого телята, а у бедного ребятя» (Ивановская 1908: 117, 119) и т.д.

«Появление на свет лишнего ребенка в бедной семье считалось семейным горем, а высокую рождаемость объясняли своим скромным благосостоянием. Образную картину этого сюжета нарисовал в 1890-х годах бедный крестьянин деревни Елехово Череповецкого уезда Новгородской губернии. Пришел он однажды к священнику и просит пудик муки на лишнего ребенка. „Уж видно сильно же на нас прогневался Бог. Пять человек, батюшка, было, а вот недавно шестого принесла“. — „Не спал бы вместе с женою, так вот бы Бог и не прогневался“, — ответил священник. — „Батюшка, богатый-то как поужинает досыта, так и спит до утра, ничего ему и в голову не придет. А голодный-то ляжешь, ночь и не спишь, да чего-нибудь и наварогосишь. Оттого у богатых всегда и ребят меньше“» (Лещенко 1999: 153). Та же дилемма богатство — многодетность в грубой, но емкой форме нашла отражение в такой поговорке: «Богатый тужит, что х... не служит, а бедный плачет, что х... не спрячет» (Пушкарева 1997: 66).

«Особенно неприятным „гостем“ считался ребенок, когда баба родила в сенокос или жнитву, потому что в это время дороги рабочие руки» (Лещенко 1999: 154). Как отмечал Г. Успенский, «существование в крестьянском быту желания сохранить женщину для возможно большего количества рабочих дней — желания, чтобы „баба“ в трудную рабочую пору „страды“ была здорова, не лежала в родах и не была брюхата, — несомненно» (Успенский 1956в: 186). Родившимся же в летнее время года доставался совсем малый шанс выжить — за ними был плохой уход, их нерегулярно и некачественно кормили, что снижало сопротивляемость желудочно-кишечным инфекциям. Не случайно на июнь-август приходился максимум младенческой смертности, превышавший среднегодовую норму в два раза: в этот сезон умирал каждый второй новорожденный (Avdeev, Blum, Troitskaia 2001). К этому стоит добавить, что, учитывая сезонность браков, летняя «коса смерти» выкашивала значительную долю первенцев, казалось бы, наиболее желанных в семье (Там же; Сивушков 1988: 33).

Конечно, если дети выживали и подрастали, они очень рано начинали работать, а «поток экономических благ» начинал струиться от них к родителям, а точнее, к главе семьи, «большаку», который — в неразделенной семье — часто и не был родителем ребенка, но олицетворял общие интересы семьи. Но значит ли это, что не существовало потока, идущего в противоположном направлении? Ведь и работающего ребенка надо содержать, при том что его экономический вклад, пока он не подрост, был не так уж велик. А были ведь и расходы, не связанные с текущим потреблением.

Один из авторов, хорошо знавший крестьянский быт начала XX века, писал о необходимости собирать приданое для дочерей как об экономическом бедствии для крестьянской семьи. «Рождение девочки в семье рассматривается главой семьи как несчастье: оно несет разорение ей, и чем больше девочек, тем глубже оно» (Внуков 1929: 7). Особенно важная часть приданого — личное женское имущество по веками выработанной норме («наряд», «снаряд», «коробья» и т.д.), которое собиралось всю жизнь девочки — от рождения до замужества. «Девочка в люльку — новинка в коробку», «Дочки оставят матку без сорочки», — гласили пословицы (Ивановская 1908: 121). «Снаряд» стоил дорого, по оценке крестьян, его стоимость была равна или почти равна стоимости всего хозяйства (Внуков 1929: 7). По мнению другого автора, «если оценить снаряд только в две коровы, то получается, что у середняка, имеющего дочь-невесту, значительная доля его имущества исключена из хозяйственного оборота. Редкий крестьянин может готовить снаряд без ущерба для хозяйства» (Синкевич 1929: 35). Подчеркивая непроеводительный, потребительский характер этих огромных затрат, отрываемых от хозяйства, наблюдатели отмечали одновременно, что родители никогда не стремились от этих затрат уклониться. «Бесполезно говорить крестьянину об улучшении хозяйства, многополье, выходе на поселок и т.д. (о матери уже и речи нет), когда есть в семье дочь на выданье» (Внуков 1929: 7).

Недешево обходилась женитьба и семье жениха. Она платила семье невесты своеобразный выкуп («кладка», «кладки», «поклажа» и т.д.) — по оценке одного из авторов второй половины XIX века, от 20 до 80, а у богатых и до 100 рублей, деньги по тем временам очень немалые (Матвеев 1878: 25). Да еще надо было сыграть свадьбу. О Семенова-Тян-Шанская писала, что «самой средней руки свадьба обходится мужику рублей пятьдесят», при том что, по ее же данным, поставить деревянную избу стоило от 50 до 120 рублей, а годовой бюджет семьи среднего достатка из 6 человек составлял около 80 рублей (Семенова-Тян-Шанская 1914: 60, 83–84). Понятно, что дети, вступавшие в брак очень молодыми, даже и начиная работать с малолетства, сами не могли накопить необходимых для женитьбы или замужества средств и что все эти расходы несли родители.

В конце XIX — начале XX века экономические тяготы многодетности осознавались уже весьма отчетливо. «Жизнь крестьянская, — отмечал один из исследователей, — с каждым годом становится дороже... „Хорошо иметь детей, — говорят крестьяне, — если их один, двое или, самое большее, трое. Больше этого они становятся родителям в тягость“. Дальнейшая плодовитость супругов-крестьян — божье наказание. Чем больше в семьях детей, тем больше бедности, недостатка и голода» (Степанов 1906: 221).

Экономические тяготы высокой рождаемости были наиболее очевидны, но постепенно приходило осознание и других ее обременительных сторон, в частности, ее влияния на здоровье женщины. Авторы XIX века постоянно указывали на повсеместное распространение женских болезней как следствие раннего начала половой жизни и деторождения, частых родов, несоблюдения простейших гигиенических требований во время беременности и родов. «Так называемые женские болезни терзают огромное большинство деревенских женщин» (Успенский 1956в: 186). «Каждому врачу, практиковавшему среди сельского

населения, известно, насколько часто встречаются женские болезни...: большинство этих болезней обязано своим происхождением родовому акту» (Афиногенов 1903: 60). Часты были выкидыши, мертворождения. За рождение большого числа детей женщины платили дорогую цену, и это не могло не оставлять следа в народном сознании.

«Если бы высокая рождаемость у крестьян была четко связана с осознанным стремлением иметь как можно больше детей, то естественной была бы и забота родителей об уже родившихся детях. Родители заботились о сохранении 2–3 детей, к судьбе других относились хладнокровнее» (Миронов 1977: 98–99). Это утверждение современного историка опирается на массу свидетельств минувшей эпохи: «Появлению ребенка радуются лишь в обеспеченных и малодетных семьях, в большинстве же случаев на детей смотрят как на неизбежное зло, упоывая на то, что „может не будут жить“. Особо не рады двойням» (Быт 1993: 264). А. Энгельгардт описывает реакцию матери на болезнь и возможную смерть дочери — молодой девушки: «Мать, которая очень любила и баловала Аксюту, отнеслась к этому совершенно хладнокровно, т.е. с тем, если можно так выразиться, бесчувствием, с которым один голодный относится к другому. „А и умрет, так что же – все равно, по осени замуж надо выдавать, из дому вон; умрет, так расходу будет меньше“ (похоронить стоит дешевле, чем выдать замуж)» (Энгельгардт 1987: 81). Этот же мотив звучит у Л. Толстого. В «Анне Карениной» «на вопрос, есть ли у нее дети, красивая молодая женщина весело отвечала: — Была одна девочка, да развязал Бог, постом похоронили. — Что же, тебе очень жалко ее? — Чего жалеть? У стариков внуков и так много. Только забота. Ни тебе работать, ни что. Только связь одна». Исследователь конца XIX века пересказывает слова многодетной матери-крестьянки: «И послал же Господь наказанье. У людей хоть дети умирают, а у нас, словно на грех, растут и растут» (Степанов 1906: 222).

Как совместить все эти свидетельства недоброжелательного отношения к многодетности с магистральной пронаталитской установкой традиционной культуры? По-видимому, говоря о понимании ценности детей людьми русского традиционного общества, об отражении этого понимания в их поведении, нужно различать два уровня, на которых дети как ценность воспринимаются по-разному.

На одном, «верхнем», «парадном» уровне дети выступают как ценность очень высокого ранга, как нечто сокровенное, святое, то, ради чего должен жить человек. Такое понимание ценности детей поддерживается установками культуры, общепризнанными нормами богоугодного поведения, оно охотно демонстрируется «на миру», люди руководствуются им в особых, критических обстоятельствах своей жизни. Примером реального функционирования подобных ценностей могут служить «так называемые тяжкие клятвы, которым народ придает особое значение, например клятвы собственными детьми». «Если человек уже начал таким образом клясться, то и судьи верят ему» (Сборник 1889: 61).

Однако при переходе к обычному, обыденному поведению людей происходит как бы снижение, приземление культурно-нормативного понимания ценности детей, оно смещается на другой уровень. Если на «парадном» уровне демонстрация пренебрежения детьми как ценностью граничит с богохульством, отступничеством, то на бытовом, «повседневном» уровне допускается гораздо более широкая гамма оценок и линий поведения по отношению к детям.

В «Пословицах русского народа» (1862) В. Даль приводит две очень похожие по звучанию, но абсолютно противоположные по смыслу пословицы о детях: «С ними горе, а без них вдвое» и «Без них горе, а с ними вдвое» (Даль 1984: 298).

Полярность этих высказываний свидетельствует о том, что в народном сознании ценности, связанные с многодетностью и с детьми, вообще не были жестко закреплены. Соответственно и действительное отношение к детям, их рождению, воспитанию, сохранению их жизни и т.д. далеко не всегда соответствовало тому, что можно было бы ожидать, исходя из знания лишь «парадных» ценностей традиционного русского общества.

Соотношение «парадных» и «обыденных» норм поведения было, по-видимому, не одинаковым в разные эпохи. Все, что писалось об изменении семейных нравов в пореформенной России, самой своей тоналностью указывает на быструю эрозию «парадных» установок культуры именно в это время. По-видимому, они все меньше соответствовали новым экономическим, социальным и демографическим условиям России вообще и русской деревни, в частности. И тогда же обнаружилась жизнеспособность в этих новых условиях многих давно известных, но оттесненных на периферию культурной системы, запретных или полужапретных форм семейного и демографического поведения, и они стали выходить из тени.

Если обобщить все многочисленные высказывания и наблюдения, касающиеся и числа рождений, и числа детей в российских семьях, то нельзя не прийти к выводу, что во второй половине XIX века в обществе подспудно назревали и все чаще выходили на поверхность сомнения в правильности вековых правил, которым, пусть и не без исключений, всегда подчинялось родительское поведение. Исключения же становились все более многочисленными. Вся прежняя многовековая система ценностей и норм, регулировавших прокреативное поведение людей, зашла в тупик, оказалась в кризисе. И горожане, и сельские жители предчувствовали или ощущали наступление новых времен, повсюду нарастало стремление к критической переоценке всего, что вчера еще считалось не подлежащим критике.

3.4 Регулирование деторождения: запретная практика

Столетиями высокая смертность детей в России делала высокую рождаемость объективно необходимой, а механизмы культуры приводили реальное поведение людей в соответствие с этим объективным требованием. Едва ли не центральное место среди них занимали запреты на сознательное вмешательство в процесс производства потомства, неприятие за родителями свободы репродуктивного выбора. И в начале XX столетия, даже и показывая, как тяготились многие семьи большим числом детей, исследователи подчеркивали, что, «как бы ни была обременена женщина детьми, она никогда не решится употребить средство против родов. Это считается незамолимым грехом» (Степанов 1906: 222). В одном из докладов на съезде Общества русских врачей 1889 года отмечалось, что «изгнание плода с преступной целью... не наблюдается среди народов России. Преступление это скорее заменяется убийством новорожденных детей» (Дневник 1889: 189).

Разумеется, в российском обществе, как и в любом другом, издавна существовала практика избавления от нежеланных детей, и были известны методы такого избавления. Но господствующая культура, церковь, закон постоянно вели борьбу против такой практики, добиваясь ее ограничения, загоняя в подполье как запретное, греховное отклонение от общепринятого и общепризнанного поведения.

Уже в древнерусских памятниках XI–XII веков мы находим четкие указания на разные виды такого запретного поведения. В «Заповедях» митрополита Георгия (XI в.) предусматриваются наказания за три из них: «аще ли которая жена удавит дитя», «аще ли... зелья ради извержет», «аще ли... блуд сотворит и проказит отроча в себе» (Романов 1947: 243). Новгородский епископ Нифонт (XII в.) на «вопрошание» Кирика «аще жены делаюче что-либо страду [какую-либо физическую работу] и вережаются и измегают?» ответил: «Аже не зельем вережают, нету за то эпитимья». Комментируя этот диалог, историк XX века замечает: «При чем тут была бы эпитимья, если бы не молчаливое предположение у обоих собеседников, что „страда“ здесь была обычным и распространенным приемом преднамеренного „изметания“?» (Там же, 242). Церковный устав Ярослава Мудрого (XI в.) предусматривал наказание жене, которая «без своего мужа или при муже дитя добудет и погубит или утопит», но к концу XII века, по-видимому, на первый план выдвинулось «не прямое убийство, а второй пункт „Заповедей“ Георгия с извержением „зельем“, что указывает на его бытовое значение по предметству» (Там же, 243–244).

Если шагнуть из XII в XIX век, мы, пожалуй, не обнаружим существенных изменений в области регулирования деторождения. Сохраняется та же бытовая практика избегания рождений в различных ситуациях и тот же культурный запрет на эту практику, ее отторжение культурой, а также активное неприятие связанных с контролем рождаемости нововведений, которые постепенно распространяются в это время в европейских пределах.

Характерно высказывание В. Милютина в передовом журнале «Современник» (1847): «В последнее время предложены были... средства для противодействия развитию народонаселения... Некоторые из них до невероятности нелепы, как, например, предложение употреблять при удовлетворении чувственных наклонностей известное средство, предупреждающее рождение детей, или предложение одного доктора извлекать посредством особого инструмента, устроенного ad hoc, зародыш прежде его рождения. Другие средства не столь возмутительны, но также чрезвычайно странны... Предлагают употреблять предосторожность..., действенность которой подвергается многими сомнению, именно воздерживаться от половых сношений в продолжении одной или двух недель, предшествующих и следующих за периодическими болезнями женщины, на том основании, будто только в эти эпохи женщины бывают способны к воспроизведению» (Милютин 1946: 93–94).

Примерно в то же время А. Герцен с пренебрежением писал о немецком «мещанстве, строго соразмеряющем число детей с приходно-расходной книгой» (Герцен 1983: 401). А ближе к концу века Л. Толстой негодовал уже по поводу соотечественников: «С помощью науки на моей памяти сделалось то, что среди богатых классов явились десятки способов уничтожения плода... Зло уже далеко распространилось..., и скоро оно охватит всех женщин богатых классов». Толстой адресовал свои

упреки женщинам богатых классов, которые «заняты своими талиями, турнюрами, прическами и пленительностью для мужчин» или же «ходят на разные курсы и говорят о психомоторных центрах и дифференциации и... стараются избавиться от рождения детей с тем, чтобы не препятствовать своему одурению, которое они называют развитием» (Толстой 1937: 40). Но «зло» все больше проникало в жизнь и крестьянского, а тем более городского населения, неизменно вызывая бурный протест ревнителей традиционных отношений и норм. Вот филиппика, которую Г. Успенский (сам весьма трезво смотревший на новые явления в жизни российской деревни) вложил в уста своего персонажа, народнически идеализировавшего крестьянскую жизнь: «И об чем хлопчут! Не стеснять инстинкт, а чтобы детей не было... Ведь на это последний мужик плюнет, такая это ахинея и подлость... И где же тут ваш культурный ум? И чего он стоит в сравнении с нашим мужицким умом, с нашей чистой крестьянской семьей, с детьми, сколько бы их ни родилось, и без всяких паршивых рецептов?» (Успенский 1956г: 219).

А вот пример реакции на уровне городских средних слоев — статья в газете «Врач» за 1893 год: «Благодаря участию интеллигенции, увидевшей возможность чем-нибудь заняться и фигурировать в обществе..., средства „разумной осторожности“ стали применяться всеми без разбора». «Средства, препятствующие зачатию, так называемые „презервативы“ приобретают все более широкое распространение. В газете печатаются о них рекламы; в аптеках, аптечных складах, инструментальных и резиновых магазинах они всегда в обилии и на самом видном месте». Автор статьи убеждает, что презервативы, равно как и *coitus interruptus*, чрезвычайно вредны для здоровья, и утверждает, что «лучше уж совсем отказаться от полового сношения, чем умножать горе болезнями» (Боряковский 1893: 886–887).

Все эти учащающиеся к началу XX века высказывания говорят о том, что ограничение рождаемости становилось все более заметным фактом жизни русского общества. Но до широкого распространения практики внутрисемейного регулирования деторождения было еще далеко, а используемые методы предотвращения зачатия или плодоизгнания были до крайности несовершенны, малоэффективны и опасны.

По свидетельству Ф. Гиляровского, священника, хорошо знавшего крестьянский быт, на той самой Новгородской земле, на которой за семь веков до этого епископ Нифонт осуждал применение «зелья», женщины добивались уменьшения числа рождений, намеренно увеличивая срок кормления грудью «далее пределов законных» (Гиляровский 1866: 50). «Матери продолжают кормить грудью ребенка до четырех и до пяти лет и кормят чужого, иногда и беззубых щенят, не говоря уж об извлечении ими своего молока и более неестественным способом. Там же, где мужа уходят на заработки на год и более, матери намеренно кормят детей до тех пор, пока муж остается дома, и отнимают их, как только он уходит» (Там же, 74).

Вообще знание методов предотвращения рождений было очень слабым — видимо, вследствие их запретности. «Убийство незаконного новорожденного ребенка или вытравливание „невинной душеньки“ в зародышевом состоянии считается тяжким грехом. Замужние женщины не „залечиваются“ никогда, да и гулящая женщина, выйдя замуж, бросает „лекарства“. Тем не менее, есть указания и на то, что случаи изгнания плода в фабричном районе Шуйского уезда распространены.

Применяемые при этом средства держат в строгой тайне. Чаще всего за помощью в „залечивании“ обращаются к баушкам... Осуждают подобный грех только строгой жизни люди» (Быт 1993: 277–278).

«Баушки», видимо, неплохо знали свое дело, потому что информатор сообщает, что «случаев болезней или смерти от таких лекарств не слышно» (Там же, 277). Но, видимо, так было не везде. Вот любопытное свидетельство, относящееся к концу XIX — началу XX века: «Из средств, употребляемых для прерывания беременности, на первом плане стоят механические, как то: поднимание тяжестей, прыгание со стола или скамейки, тугое бинтование и разминание живота, трясение всего тела и т.п. За этим следуют средства, которые находятся под рукой... В большом употреблении настой тысячелистника (*Herba millefolium*), маточные рожки (*Secale cornutum*), толченый янтарь, порошок, отвар можжевельника, свежий выжатый сок чистотела (*Herba chelidonium*)..., настой шафрана (*Stacus sativus*), иногда и живая ртуть. Появились случаи употребления внутрь фосфора, автору известно 13 случаев, все 13 женщин умерли» (Афиногенов 1903: 57).

Даже простые методы избегания рождений были неведомы не только крестьянам, но и людям из просвещенных слоев русского общества. С каким изумлением женщина из высшего круга, мать многих детей Доли Облонская у Л. Толстого узнает из разговора с Анной Карениной, что есть способы не иметь детей, если не хочешь! Да и Анна Каренина сама лишь недавно узнала об этом от врача. Но Доли Облонская не просто удивлена, затронута ее нравственное чувство. «*N'est ce pas immoral?*» — спрашивает она. И, в конце концов, сама дает себе ответ: «Нет, я не знаю, это не хорошо, — только сказала она с выражением гадливости на лице».

В этом эпизоде Л. Толстой очерчивает ситуацию второй половины XIX века, когда все слои русского общества разделяли сильное предубеждение против всякого вмешательства в процесс деторождения. Соответствующими были и знания о способах такого вмешательства.

Более или менее известным способом был «искусственный выкидыш» (как называли в то время аборт), по крайней мере в городах, где проживала меньшая часть населения страны, и среди наиболее образованных слоев населения. Рост числа «искусственных выкидышей» в городах к 1910-м годам становился ощутимым.

Полных достоверных данных о числе абортов в то время, конечно, не существует, поскольку искусственные аборты тщательно скрывались. Аборт был запрещен и считался тяжким преступлением (статьи 1461–1463 Уложения о наказаниях 1885 года). В «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона (1892) в статье «Выкидыш» говорилось: «Искусственный выкидыш производится или врачом с целью спасения жизни матери или самой матерью и другим каким-либо лицом с преступной целью — прекратить беременность... По нашему уложению о наказаниях виновный в преступном плодизгнании подвергается лишению всех прав состояния и ссылке на поселение в отдаленнейшие места Сибири» (Выкидыш 1892: 510–511). «Кто без ведома и согласия женщины умышленно какими бы то ни было средствами произведет изгнание плода, — гласил закон, — наказывается каторжными работами от 4 до 6 лет». Произведший изгнание плода с ведома и по согласию беременной карался исправительными арестантскими отделениями от 5 до 6 лет, а сама беременная — тюремным заключением от 4 до 5 лет

с лишением всех особенных прав. Позднее, в Уголовном уложении 1903 года, наказание было несколько смягчено, но аборт по-прежнему рассматривался как преступное деяние (Генс 1928: 41).

Закон, однако, в этой сфере соблюдался плохо, и число осужденных за аборт в России оставалось низким и практически неизменным (Гернет 1927: 13). Так что оценивать распространенность аборта по этому показателю едва ли стоит.

А вот другой показатель — число женщин, поступающих в больницы после нелегального аборта («выкинувших») — быстро рос. Доля таких женщин среди пациенток родильных и гинекологических отделений больниц Москвы и Петербурга достигла к 1910 году 10–33% (табл. 3.2); в этих же пределах находятся данные и по Саратовскому городскому родильному дому (16%) (Труды 1912: 97). Причины выкидышей в большинстве случаев неизвестны, но, вероятно, значительное число выкидышей были искусственными (Федоров 1913: 1048). В статистику включались только те «неудавшиеся» аборты, которые требовали дальнейшей медицинской помощи, и не попадали аборты в частных лечебницах и прошедшие без медицинской помощи. А неудачные искусственные выкидыши были неизбежны, потому что аборт был загнан в подполье, зачастую операция делалась случайными людьми, в антисанитарных условиях, неумело, доходило до того, что женщины «сами себе делали аборты вязальными иглами, перьями, палочками и пр.» (Общество 1913: 92). Какая-то часть женщин, перенесших такого рода вмешательство, вынужденно попадала в больницу.

Неудивительно, что проблема распространения искусственного аборта стала все больше привлекать внимание общественности, особенно медицинской. Рост числа абортов в то время не был чисто российской проблемой. Страны Европы и Северной Америки столкнулись с ней еще раньше. Возможно, российские ученые и обратили внимание на проблему под влиянием острой дискуссии по поводу абортов, которая велась на страницах научных изданий западных стран. Впрочем, эта проблема не осталась незамеченной и российской публицистикой. «На медицинских факультетах как за границей, так и у нас открыто преподается преступное искусство вытравлять плод женский — и столь же открыто это „высокое искусство“ излагается в курсах акушерства, — возмущался В. Розанов. — ...Следовало бы по крайней мере с кафедры и печатно не учить преступному» (Розанов 1990а: 178).

Вопрос о распространении практики прерывания беременности и ее последствиях для здоровья женщин и детей активно обсуждался на 3-м съезде Общества русских врачей в память Н.И. Пирогова в 1889 году. Авторы докладов, прозвучавших на секции акушерства и женских болезней съезда², признавая, что аборт — зло, вместе с тем призвали к смягчению российского законодательства в отношении абортов,

в частности к тому, чтобы свести до минимума наказание женщине, подвергшейся операции, и признать законным медицинский аборт в случае некоторых заболеваний.

Н. Тальберг отметила, что как в Западной Европе, так и в России возросло содействие аборту со стороны «врачебного сословия», часто из корыстных побуждений. Меры борьбы с распространением искусственного выкидыша докладчик видела в распространении в обществе сведений о вреде аборта, улучшении образования и воспи-

2
«К вопросу о показаниях к предотвращению беременности» П. Зейдлера и «О преступном выкидыше с медицинской и социальной точки зрения и о мерах борьбы против прогрессивного увеличения числа случаев преступного выкидыша» Н. Тальберг (Дневник 1889).

тания женщин в смысле поднятия их умственного развития, религиозности и нравственной дисциплины, в устройстве большего количества воспитательных домов и родильных приютов (Дневник 1889: 256–257). Как говорилось в отчете о работе секции акушерства и женских болезней, «доклады эти имеют только то значение, что в них решились затронуть столь щекотливый вопрос... Понятно, что секция не пришла ни к какому решению по поводу этих докладов, кроме соглашения в том, что производство незаконного выкидыша действительно представляет собою нравственное и социальное зло» (Третий съезд 1889: 177–178).

Таблица 3.2. Доля перенесших аборт среди всех пациентов родильных или гинекологических отделений в некоторых больницах Петербурга и Москвы, 1883–1912, %

| | Императорский клинический повивально-гинекологический институт, родильное отделение ¹ | Петропавловская больница, гинекологическое отделение ² | Мариинский родо-вспомогательный дом ³ | Мясницкая больница, родильное отделение ⁴ | Старо-Екатерининская больница, родильное отделение ⁴ | Бахрушинская больница, родильное отделение ⁴ | Родильный дом им. Лепехина в Москве ⁵ |
|-----------|--|---|--|--|---|---|--|
| 1883–1893 | 2,6 | | | | | | |
| 1893–1897 | 3,7 | | | | | | |
| 1897–1899 | 5,2 | | | | | | |
| 1900 | 6,8 * | | 2,11 | 1,56 | 3,36 | 6,38 | |
| 1903 | 8,5 | | 4,5 | | | | |
| 1904 | 8,4 | | 3,8 | 0 | 7,7 | 7,82 | |
| 1905 | 10 | | 3,4 | 2,89 | 7,6 | 6,82 | |
| 1906 | 12 | 12 | 7,8 | 3,44 | 20,75 | 9,6 | |
| 1907 | 12,8 | 19 | 8,0 | 0 | 10,29 | 8,54 | |
| 1908 | 16,05 | 25 | 9,6 | 4,34 | 10,34 | 8,66 | 3,4 |
| 1909 | 16,5 | 30 | 10,5 | 6,52 | 9,41 | 8,71 | 5,3 |
| 1910 | 20,7 | 33 | 11,0 | 19,64 | 12,29 | 10,56 | 6,7 |
| 1911 | | | 8,4 | | | | 11,6 |
| 1912 | | | 10,4 | | | | 13,5 |

* 1900–1902.

Источник: ¹ Якобсон 1912; ² Окинчиц 1912; ³ Личкус 1913 (автор пишет, что в последние три года Мариинский родо-вспомогательный дом ограничил прием выкидышающих женщин, иначе их число было бы больше); ⁴ Пирожкова 1912;

⁵ Генс 1928: 42.

На рубеже веков регулирование деторождения в России имело очень малое распространение, в Европейской России оно, по оценкам исследователей, снижало среднее число рождений в браке менее чем на 10% (Вишневецкий 1977: 131–133). В результате в России сохранялась необычайно высокая, по тем временам, рождаемость. В целом по России она все еще имела оправдание в высокой смертности, но уже появлялись социальные слои, в которых смертность заметно снижалась, и они искали способа ответить на это снижение снижением рождаемости. Однако такие поиски были затруднены неготовностью российского общества к принятию многих европейских социальных нововведений, одним из которых и было «планирование семьи».

4.1 Большая и малая семья: противоборство или симбиоз?

Во второй половине XIX столетия в России семья — главный институт, в рамках которого осуществляется воспроизводство населения, — вступила в полосу глубокого и многостороннего кризиса. И этот кризис, и последующий путь, пройденный российской семьей за XX век, были во многом предопределены общими переменами в жизни России, которые быстро нарастали, по меньшей мере, со времен отмены крепостного права, когда в стране резко ускорилось развитие торговли, промышленности, городов, монетаристских отношений и все это вступило в противоречие с укладом жизни традиционного русского общества вообще и семьи, в частности.

Веками формы традиционной крестьянской семейной жизни были «подогнаны» к экономическим и социальным условиям российского земледельческого хозяйства. Но во второй половине XIX века эти условия стремительно уходили в прошлое, а вместе с тем лишались опоры и приспособленные к таким условиям семейные структуры, формы и нормы семейных отношений. Именно в это время вышло наружу всегда существовавшее подспудно противоречие «малой» и «большой» семей.

В России дольше, чем в странах Западной Европы, задержалась большая, неразделенная семья — *расширенная* (т.е. состоящая из *одной* супружеской пары и других, не являющихся супругами родственников разной степени близости, — овдовевших родителей и прародителей, неженатых детей, внуков, правнуков, дядьев, племянников и т.д.) и *составная* (имеющая в своем составе *несколько* супружеских пар и, так же как и расширенная семья, других родственников). Впрочем, не все члены такой большой семьи — обязательно кровные родственники, тем более близкие. Она может включать и более отдаленных родственников (двоюродных и троюродных братьев и сестер, внучатых племянников и т.п.), а также и лиц, связанных свойством, — зятьев, снох, золовок, деверей и пр., — и даже людей, не связанных с ней ни родством, ни свойством, но живущих под той же крышей и ведущих совместное с другими членами семьи домашнее хозяйство: приемные дети, ученики, приживалы, работники, прислуга¹.

В прежние времена такое понимание семьи было общепринятым, и подобные большие семьи были весьма распространены во всех странах. Но наряду с большими всегда существовали и малые семьи, состоящие из супружеской пары с детьми, а иногда и без детей. Иными словами, супружеская пара с детьми или без детей могла существовать в одном из двух видов: как автономная малая семья либо как «встроенная» в большую семью ее составная часть.

Историки и социологи давно уже ведут споры о том, каким было соотношение этих двух форм существования «супружеской семьи» в прошлом. Было время, когда они

¹ Строго говоря, слово «семья» не вполне применимо к таким формам общежития, и в бытовом, и тем более в научном языке их обозначают терминами «хозяйство», «домохозяйство» (английское *houshold*, французское *ménage*), в России в прошлом в этом случае употреблялось слово «двор». Но все же и слово «семья» используется в таких случаях достаточно широко. Будем продолжать им пользоваться и мы, хотя не следует забывать о сделанной оговорке.

единодушно полагали, что во всех без исключения обществах, где сейчас господствует малая супружеская семья, прежде безусловно преобладала семья сложная, которая была основной формой частного общежития, предшествовавшей современной малой семье. Так было, считали они, в Западной Европе примерно до промышленной революции, в Японии — до реставрации Мэйдзи 1868 года. Так было и в России до реформы 1861 года. По словам В. Ключевского, «в строе частного гражданского общежития старинный русский *двор*, сложная семья домохозяина с женой, детьми и неотделенными родственниками, братьями, племянниками, служил переходной ступенью от древнего рода к новейшей простой семье» (Ключевский 1987: 132). Малая же семья, еще недавно утверждали историки, «хотя и имевшая место, являлась все же эпизодической» (Косвен 1963: 80).

В последние десятилетия это единодушие исследователей было сильно поколеблено. Введение в научный оборот новых исторических источников (разного рода списков населения, составлявшихся для фискальных и административных нужд, церковных записей и т.п.) сделало возможным статистический анализ распространенности семей (домохозяйств) различных типов. А этот анализ привел многих исследователей к выводу, что в действительности в прошлом малая супружеская семья встречалась гораздо чаще, чем полагали прежде.

Так, английский историк П. Ласлетт, изучив семейную структуру населения ряда деревень в разных странах Западной Европы XVI–XVIII веков, пришел к заключению, что во всех них «нуклеарная семья с супружеским ядром решительно преобладает» (Ласлетт 1979: 150). К сходным выводам пришли и некоторые российские исследователи: «До совсем недавнего времени, — пишут они, — в отечественной литературе весьма прочно удерживался взгляд, согласно которому вплоть до реформы 1861 года в России в крестьянской среде основной формой семьи была семья „большая“... История крестьянской семьи в Сибири с момента ее образования в XVII веке и до середины XIX века свидетельствуют о гораздо более сложном процессе, в котором на протяжении этих веков шло противоборство двух типов семей — малой и неразделенной» (Этнография 1981: 50).

В самое последнее время обобщенный взгляд на соотношение «малой» и «большой» семей в прошлом применительно к России был высказан автором фундаментальной «Социальной истории России» — Б. Мироновым. Он приводит многочисленные данные, на основании которых «можно предположить, что до эмансипации в деревне преобладала составная крестьянская семья» (Миронов 1999: 225). Но вслед за тем он утверждает, что, несмотря на статистическое преобладание составных семей, «в действительности» (?) у нас всегда преобладала семья малая. «Распределение семей на определенную дату, — продолжает он, — создает иллюзию, что составная семья всюду сохраняла свои позиции вплоть до начала XX века. В действительности, малая семья являлась главной формой семейной организации крестьянства в течение всего императорского периода, а составная семья была лишь одной из стадий ее внутреннего развития для преобладающего числа крестьян в определенный период жизни, как правило, совпадающий с детством и юностью... Вплоть до начала XX века составная семья представляла собой одну, хотя и не самую продолжительную, стадию развития малой семьи для значительной части крестьянства в период их детства и юности»

(Миронов 1999: 229, см. также с. 236, 266–267). Это многократно повторенное утверждение не вполне ясно. Если люди рождались и проводили детство и юность в составной семье, то и их родители, уже не дети и не юноши, тоже жили в это время в той же семье. Может быть, к старости они — вместе со своими детьми — и отделялись от *данной* составной семьи, но к этому времени они могли уже иметь женатых сыновей, так что снова воспроизводилась расширенная или составная семья. И что значит «главная форма семейной организации»? Разве здесь может быть какая-то табель о рангах, отличная от статистического ранжирования?

Создается впечатление, что вопрос об истинном соотношении «малой» и «большой» семей в прошлом далек от полного разрешения. Здесь пока не удается преодолеть крайних взглядов, о которых неплохо сказал американский историк семьи Э. Шортер: «Социологи, которые первыми стали заниматься историей семьи, взяли дурную привычку раз навсегда исходить из гипотезы, согласно которой до промышленной революции семьи были организованы, как настоящие кланы, или, по крайней мере, всегда были значительно „расширенными“. Так как одной капли исторических знаний было достаточно, чтобы убедиться в ошибочности этой гипотезы применительно к европейскому обществу, начиная с 1960-х годов, ... под громкие возгласы восхищения стали открывать нуклеарную семью на каждом повороте истории... Авторы впали в противоположную крайность..., они стали утверждать, что повсеместно и во все времена практически преобладала супружеская семья — отец, мать, дети и прислуга. Таким образом они пришли к тому, что создали свою собственную фантастическую гипотезу: нуклеарная семья как историческая константа» (Shorter 1977: 40).

Сам факт извечного параллельного существования малых и больших семей едва ли вызывает сомнение. Иначе не могло и быть — формирование того или иного типа семьи не было жестко детерминированным процессом, речь может идти только о том, какой была вероятность появления каждого из них. Соответственно, даже если статистические данные свидетельствуют о довольно значительном в прошлом числе семей, состоящих только из супружеской пары с детьми или без детей, к истолкованию этого факта следует относиться с большой осторожностью. Полезно прислушаться к аргументации тех историков, которые продолжают настаивать, что в допромышленных обществах преобладающим типом была все же большая многопоколенная семья — расширенная или составная.

Особенно важно соображение о том, что фиксируемые наблюдениям различные типы семей на самом деле «могут представлять различные фазы цикла одной и той же семейной структуры» (Berkner 1975: 729; Вишнеvский, Кон 1979: 8–12). Необходимо ясно понимать, в каких демографических условиях шло формирование семьи еще 100–200 лет назад. Неразделенные семьи, как правило, были патрилинейными и патрилокальными, т.е. продолжались по мужской линии, причем женатые сыновья оставались в родительском доме, а замужние дочери уходили в семью мужа. Во многих странах Западной Европы была распространена так называемая «корневая» семья²: в доме отца оставался только один женатый сын, который и наследовал семейную собственность. В русской деревне в родительской семье обычно оставались все женатые сыновья со своими женами и детьми. Для того чтобы сложилась и была зафиксирована ста-

² Stem family (англ.), famille souche (фр.).

тистикой трехпоколенная неразделенная «отцовская» семья, надо, чтобы в семье старшего поколения был хотя бы один сын, доживший до возраста, когда он может жениться и иметь детей, и чтобы хотя бы один из его родителей был жив к этому моменту. В допромышленную эпоху, в силу высокой ранней смертности, довольно значительного бесплодия, частых выкидышей и других подобных обстоятельств, вероятность выполнения указанных условий была невысока.

Поэтому, даже если допустить, что большинство людей стремились к созданию и сохранению многопоколенных, неразделенных больших «отцовских» семей, совершенно неизбежным было большое число несостоявшихся или частично состоявшихся семей этого типа. Во втором случае складывалась, например, «братская» семья — сложная, но двухпоколенная. В первом же случае возникала малая семья, состоящая из супругов с детьми, а иногда и без них. Такая семья и трактуется исследователями как «супружеская», или «нуклеарная» (группирующаяся вокруг «супружеского ядра»). Но в прошлом — это вынужденная нуклеарность.

Подобные малые семьи не стремятся воспроизвести себя в прежнем виде, а при малейших благоприятных условиях превращаются в большие, сложные. История знает самые разные способы преодоления вынужденной нуклеарности. Например, в средневековой Франции составные «братские» семьи создавались путем «братания» (Ласлетт 1979: 139). Во многих странах, в том числе и в России, было широко распространено усыновление при отсутствии прямых потомков мужского пола, причем усыновляемым мог быть не только ребенок, но и взрослый мужчина. Когда для этого были условия, практиковалось и «приймачество» — вопреки обычной патрилокальности замужняя женщина вместе с мужем жила в семье своих родителей.

Таким образом, существовало немало искусственных мер, противостоявших вынужденной нуклеарности части семей и способных несколько сократить их число. Но они едва ли могли полностью изменить общую статистическую картину распределения семей по составу и величине и свести на нет количество малых семей, иногда весьма значительное. Отсюда и те статистические выводы о постоянном наличии, а то и преобладании малых семей в прошлом, которые делают некоторые современные историки. Но можно ли, даже и располагая неоспоримыми статистическими данными о значительном числе малых семей в прошлом, считать их доказательством — даже не главенства, а всего лишь определенной типологической самостоятельности малой крестьянской семьи, ее альтернативности семье большой? Видимо, чтобы понять, что представляет собой, по преимуществу, малая нуклеарная семья — «историческую константу» или особый феномен новейшего времени, один из плодов модернизации, — следует глубже вникнуть в принципы жизнедеятельности семейных структур, в характер семейных отношений в прошлом.

Малая супружеская семья, скорее всего, ровесница большой, неразделенной, ее постоянная спутница. Отношения между ними, вероятно, всегда были непростыми. Сосуществуя на протяжении веков, они находились в своеобразном симбиозе, нуждались друг в друге, знали и конкуренцию, и противоборство, и взаимные уступки.

Явные экономические и демографические преимущества большой семьи долгое время исключали массовое стремление малых семей к обособленному существованию. Малая семья, группирующаяся

вокруг супружеского ядра, никогда не противостояла большой семье как тип, скорее, она ощущала свою неполноценность, незавершенность по сравнению с большой и стремилась при первой возможности превратиться в такую большую, сложную, многопоколенную семью, в недрах которой она чувствовала себя более защищенной. Человек здесь меньше зависел от столь частых в прошлом экономических, демографических и прочих случайностей.

Но за эту относительную защищенность супружеской семье приходилось платить дорогую цену. Такая семья была двуликим Янусом. Одним ликом она была обращена вовнутрь себя — к супружеству, продолжению рода, воспитанию детей. Другой же лик супружеской семьи был повернут вовне — к непосредственному окружению, к большой семье, которой ее малые составные части, заботясь о своих собственных интересах — тех, что находились под присмотром первого янусового лика, — уступали львиную долю своего суверенитета.

Так было везде, так было и в России. Крестьянин вел тяжелейшую, но далеко не всегда успешную борьбу за существование, голод постоянно стоял у порога крестьянской избы. Большая семья лучше соответствовала условиям земледельческого труда, повышала шансы на выживание. Перед этим решающим соображением все остальные отступали на второй план. Об экономических преимуществах больших крестьянских семей много писали во второй половине XIX века, вряд ли стоит все это снова повторять. Следует, может быть, лишь добавить указание — тоже, впрочем, не новое — на некоторые демографические основания предпочтения больших семей. Вероятность для супругов овдоветь, для детей — остаться сиротами, а для стариков — оказаться одинокими в конце жизни была еще очень высока, а принадлежность к большой семье давала все же некоторую дополнительную «страховку», защищавшую овдовевшую многодетную мать, детей-сирот или беспомощных стариков от голода и полной нищеты.

Почему, однако, уже в XIX веке, столь типичная для России неразделенная крестьянская семья в тысяче верст к западу была достаточно большой редкостью? Ведь и на полях Западной Европы колосились и рожь, и пшеница, а тамошние земледельцы были никак не беднее российских. Дело, видимо, не просто в земледельческом труде, не в хлеборобстве только, а в том, как это хлеборобство организовано, во всей системе аграрной экономики.

Французский историк Э. Тодд, изучавший различные типы крестьянской семьи в Западной Европе, предложил классификацию этих типов, в зависимости от характера внутрисемейных отношений, проявлявшихся прежде всего в способах пользования собственностью и ее наследования. Основаниями для отнесения семьи к тому или иному типу служат, с одной стороны, ценности, определяющие отношения между родителями и детьми (они могут быть, согласно Тодду, либеральными и авторитарными), с другой — ценности, организующие взаимоотношения между братьями (равноправные или неравноправные). Опираясь на эти ценностные оси, Тодд выделил четыре основных типа семьи, характерных для Западной Европы, по крайней мере, на протяжении последних 500 лет: «абсолютная нуклеарная семья» (отношения родителей и детей либеральные, братьев — неравноправные), «эгалитарная нуклеарная семья» (отношения родителей и детей — либеральные, братьев — равноправные), «корневая семья» (отношения родителей

и детей авторитарные, братьев — неравноправные) и «общинная семья» (отношения родителей и детей авторитарные, братьев — равноправные) (Todd 1990: 29).

Если следовать этой классификации, то русская крестьянская семья относится к четвертому, общинному типу. Ее преобладание генетически связано с такой организацией сельскохозяйственного производства, при которой денежные отношения не развиты, а землепользователь расплачивается с землевладельцем частью урожая в натуральной форме — *с испольщиной*.

Поясняя связь европейской неразделенной семьи с испольщиной, Э. Тодд пишет: «В рамках экономики, в принципе враждебной использованию денежных знаков, общинная семья обеспечивает концентрацию наибольшей рабочей силы. Никакая другая... система не способствует созданию столь обширных семейных групп, включающих в себя столько взрослых молодых людей... Периодическое разделение семей не позволяет крестьянам укорениться на земле и постепенно превратить владение ею в наследственное, прийти, в конце концов, к переходу собственности на землю от дворян и буржуазии к земледельцам. Общинная семья... — единственный антропологический тип в Европе, допускающий полное развитие испольщины, то есть аграрной системы, при которой семейное хозяйство сочетается с бесправием крестьян» (Там же, 80).

Испольщина давно уже не имеет широкого распространения в Европе, Тодд нашел ее следы лишь в некоторых районах, больше всего — на севере Италии. В России же эту родственную ей итальянскую аграрную систему давным-давно разглядели и похвалили, — хваля самих себя и свысока поглядывая на остальных. «Где же наше русское, народное богатство? Смело отвечаю: в крестьянстве и его землевладении. Совсем другое у европейских народов... [В Англии] самое коренное, самое многочисленное население — батраки, т.е. люди, не имеющие ни кола, ни двора, которым опереться не на что, у которых нет почвы под ногами, нет своей избы, и потому они нищенствуют... Всего лучше еще у итальянцев, на севере Италии, где земледельческий народ живет на праве половничества, т.е. работает из пола...» (Огарев 1956: 136–137).

По меркам своего времени, патриархальная семья в России была абсолютно естественной, «нормальной». Согласованность основных черт такой семьи, равно как и крестьянской общины, в которую она входила, со строем хозяйственной жизни делала этот тип социальной организации прочным, устойчивым. Он же, в свою очередь, придавал устойчивость хозяйственной да и политической системе. Столетиями отцовская семья была кирпичиком, из каких складывались общественные устои, так она и виделась авторам прошлого века. «В основе всех частных и общественных отношений, — писал К. Кавелин, — лежит один прототип, из которого все выводится, — именно двор или дом, с домоначальником во главе, с подчиненными его полной власти чадами и домочадцами» (Кавелин 1989: 197). На этом фундаменте и впрямь выросло очень многое в культуре и идеологии русского общества, его мироощущении, его представлениях о добре и зле, о соотношении коллективистских и индивидуалистских ценностей.

Настал, однако, момент, когда все это здание — вместе с семейным фундаментом — начало терять свою вековую устойчивость. Деревня все в меньшей степени определяла лицо экономики страны, а в самой деревне натуральное хозяйство стремительно отступало под натиском

товарно-денежных отношений. Тогда и начал трещать по швам привычный семейный уклад. Вырастая из тесного костюма натуральнохозяйственных отношений, сталкиваясь со все новыми задачами, приобретая все более разнообразный и сложный социальный опыт, русский человек быстро менялся и начинал задыхаться в узких рамках устаревших институтов, среди которых семья, в силу своего повсеместного присутствия, занимала одно из первых мест.

4.2 Супружеская семья в поисках суверенитета

Раньше конституирующие семью специфические институты — брак и супружество — естественно вписывались во всю систему вековых экономических и демографических отношений.

В России, как и везде, издавна существовала традиция ранних и почти всеобщих браков. Но в Западной Европе к началу XX столетия эта традиция уже была изжита. Примерно с середины второго тысячелетия здесь стал распространяться новый, отличный от традиционного тип брачности, названный Дж. Хаджналом «европейским» (Хаджнал 1979). Его отличительными чертами были поздняя брачность и высокая доля лиц, никогда не вступавших в брак. К началу XX века во многих странах Западной Европы 70–80% женщин в возрасте 20–24 лет не были замужем и даже к 30 годам доля незамужних достигала 40%, а иногда и 50%. Неженатых мужчин в этих возрастах было еще больше (Там же, 16).

В России же к началу XX столетия почти безраздельно господствовала традиционная ранняя и почти всеобщая брачность.

Первая всеобщая перепись населения 1897 года показала, что в конце XIX века для населения большей части России к возрасту 50 лет было характерно состояние в браке практически всех мужчин и женщин, доля населения, никогда не состоявшего в браке, в возрастной группе 45–49 лет в России (как, впрочем, и в некоторых других восточноевропейских странах) была существенно ниже, чем в странах Западной Европы (табл. 4.1).

Таблица 4.1. Никогда не состоявшие в браке в возрасте 45–49 лет в некоторых странах Европы, рубеж XIX и XX веков, %

| Страна, год* | Женщины | Мужчины | Страна, год* | Женщины | Мужчины |
|----------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| Швеция, 1900 | 19,0 | 13,0 | Австралия, 1901 | 9,3 | 22,4 |
| Бельгия, 1900 | 17,1 | 16,1 | США, 1900 | 8,6 | 12,0 |
| Швейцария, 1900 | 17,0 | 16,0 | Чехия, 1910 | 8,5 | 6,2 |
| Нидерланды, 1900 | 14,0 | 13,0 | Польша, 1900 | 7,8 | 6,1 |
| Англия и Уэльс, 1901 | 13,4 | 11,0 | Европейская Россия, 1897 | 5,0 | 4,0 |
| Австрия, 1900 | 13,0 | 11,0 | Греция, 1907 | 4,0 | 9,0 |
| Канада, 1911 | 12,0 | 15,1 | Венгрия, 1900 | 4,0 | 5,0 |
| Франция, 1901–1905 | 11,2 | 10,4 | Румыния, 1899 | 3,0 | 5,0 |
| Италия, 1901 | 10,9 | 10,9 | Япония, 1920 | 1,9 | 2,3 |
| Испания, 1900 | 10,2 | 6,4 | Болгария, 1900 | 1,0 | 3,0 |
| Германия, 1900 | 10,1 | 8,2 | Сербия, 1900 | 1,0 | 3,0 |

*Страны ранжированы в порядке убывания доли никогда не состоявших в браке женщин.

Источник: *Patterns of first marriage 1990: 7–18; Тольц 1977: 139.*

Более половины всех невест и около трети женихов в Европейской России были не старше 20 лет. Но Европейская Россия включала в себя

страны Балтии и некоторые другие районы со значительным протестантским и католическим населением, у которого тип брачности был близок к европейскому. Если же говорить о собственно России, то доля ранних браков была еще большей — вступление в брак непосредственно следовало за наступлением социально признаваемого возраста совершеннолетия, который во второй половине XIX века для девушки в среднем по России находился в интервале 13–16 лет, для юноши — 17–18 лет. Верхняя возрастная граница совершеннолетия совпадала с бракоспособным возрастом (табл. 4.2).

Таблица 4.2. Возраст социально признаваемого совершеннолетия и вступления в брак для девушки, Россия, вторая половина XIX века, лет

| | Начало признаваемого совершеннолетия | Возрастной пик признания девушки совершеннолетней | Социальная норма для возраста вступления в брак |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Южнорусские области | 13–14 | 16 | 16–18 |
| Центральные и верхневолжские области | 13–15 | 16–18 | 16–23 |
| Среднее Поволжье | 13–16 | 16–18 | 16–25 |
| Среднерусская зона | 13–16 | 16–22 | 16–27 |
| Сибирь | – | 17–21 | 17–21 |

Источник: Бернштам 1988: 47.

3

Соответствующие исследования историков и этнографов обобщены в работе Т. Бернштам (1988: 41–51).

4

Отход от сверххранной брачности, когда нормой были браки между 13–14-летней невестой и 15–16-летним женихом произошел еще раньше, в XVIII веке. В 1774 году церковь установила бракоспособный возраст в 13 лет для женщин и в 15 лет — для мужчин. В соответствии с императорским указом 1830 года минимальный возраст для вступления в брак повысился до 16 лет для невесты и 18 лет — для жениха. Однако крестьяне и нижние слои городского населения нередко обращались к духовным властям за разрешением выдать замуж дочь в более раннем возрасте. В качестве главного мотива выдвигалась необходимость иметь в доме работницу или хозяйку. Для получения разрешения на брак девушка проходила медицинское освидетельствование на физическую зрелость и очень часто не выдерживала испытания, когда экспертами были врачи, и, наоборот, получали свидетельство на зрелость, когда решение принимали сами священники (Миронов 1999: 167–168).

Согласно выполненному Э. Коулом анализу доли состоящих в браке женщин по губерниям России, сходный с европейским тип брачности можно было обнаружить только в Санкт-Петербургской губернии. По мере удаления от Прибалтики в глубь России брачность приобретала все более традиционный характер, и в юго-восточных губерниях была ярко выражена традиционная модель. Здесь средний возраст вступления в брак составлял не более 20 лет (Coale 1969). Для русского населения Сибири и севера Европейской части России он был несколько выше, но и там 80 и более процентов девушек вступали в брак до 25 лет³.

Правда, первые признаки отхода от традиционной брачности, в частности повышения возраста вступления в первый брак, уже появились в России во второй половине XIX века⁴, и какую-то роль в этом сыграло введение всеобщей воинской повинности (с 1874 года). Но перемены были не очень ярко выражены и затронули только те губернии, где в пореформенное время быстро развивалась промышленность, усиливались отходничество и миграционная подвижность крестьянства. Так, в неземледельческо-промышленной полосе, где на рубеже веков было сосредоточено примерно 18% населения Европейской России, между 1867–1870 и 1901–1910 годами доля браков в возрасте 20 лет и моложе сократилась у женщин с 55,9 до 48,5%, у мужчин — с 39,5 до 29,9%. А в центрально-земледельческих губерниях (30% населения) за то же время не произошло почти никаких изменений, доля браков в возрасте 20 лет и моложе как была, так и осталась у женщин — более 65%, у мужчин — более 43% (Вишневский 1977: 116–117).

В целом, на рубеже XIX и XX веков по показателю среднего возраста вступления в первый брак Европейская Россия, даже с учетом западных губерний с их более поздней брачностью, была гораздо ближе к таким наиболее отсталым, аграрным восточноевропейским странам, как Болгария, Румыния или Сербия, нежели к странам Западной Европы (табл. 4.3).

Таблица 4.3. Средний возраст вступления в первый брак в некоторых странах мира, рубеж XIX и XX веков, лет

| Страна, год | Женщины | Мужчины | Страна, год | Женщины | Мужчины |
|-----------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| Швеция, 1900 | 27,5 | 29,5 | Италия, 1901–1905 | 23,8 | 27,4 |
| Нидерланды, 1900–1904 | 26,4 | 28,3 | США, 1900 | 23,7 | 27,4 |
| Англия и Уэльс, 1901 | 25,8 | 27,2 | Польша, 1900 | 23,6 | 26,6 |
| Германия, 1900 | 25,5 | 27,8 | Европейская Россия, 1897 | 21,4 | 24,2 |
| Бельгия, 1900 | 25,4 | 27,3 | Япония, 1920 | 21,1 | 24,9 |
| Чехия, 1900 | 25,4 | 27,8 | Болгария, 1900 | 20,8 | 24,2 |
| Франция, 1901–1905 | 24,6 | 28,0 | Румыния, 1899 | 20,3 | 24,5 |
| Испания, 1900 | 24,5 | 27,4 | Сербия, 1900 | 20,1 | 23,0 |
| Канада, 1911 | 24,3 | 28,6 | | | |

Примечание: Расчетный средний возраст вступления в брак (SMAM – Single mean age at marriage), оцениваемый на основе возрастного распределения женщин никогда не состоявших в браке, получаемого по данным переписей населения. Методика расчета предложена Дж. Хаджнalom (Patterns of first marriage 1990: 323–327). Страны ранжированы в порядке убывания возраста вступления в первый брак для женщин.

Источники: Patterns of first marriage 1990: 7–18; Тольц 1977: 139.

Дореволюционная Россия почти не знала развода, брачный союз заключался на всю жизнь и практически не мог быть расторгнут. Развод рассматривался церковью как тягчайший грех и разрешался в исключительных случаях. Основанием для развода могло служить только «безвестное отсутствие» и «лишение всех прав состояния» одного из супругов. Тем не менее, по мере изменения общественных условий, постепенной эмансипации женщин, уже в дореволюционное время менялись взгляды на ценности супружества, отношение к разводу. Однако эти изменения затрагивали в основном элитарные слои населения, составлявшие крайне небольшую долю во всем населении, официальные разводы были большой редкостью. В 1913 году на 98,5 млн. православных в России был расторгнут всего 3791 брак, причем основная доля разводов приходилась на города (Всеподданейший отчет 1915: 33).

Впрочем, разводились или, во всяком случае, расходились и крестьяне, и, возможно, это не всегда находило отражение в статистике. «Разводы случаются... и оформляются через волостной суд. Судьбу детей также решает суд. В данной местности [Шуйском уезде Владимирской области] существует обычай: не доводя дело до развода, оставлять дом супруга (супруги) и жить на стороне с любовником (любовницей)» (Быт 1993: 275).

В любом случае, браки не отличались большой долговечностью, но в основном не из-за разводов. Вследствие высокой смертности всегда был очень высок риск прекращения брака из-за овдовения одного из супругов. В самом конце XIX столетия, в 1897 году, доля вдов среди всех женщин бракоспособного возраста составляла 13,4%. У мужчин соответствующий показатель был значительно меньшим и составлял 5,4%.

Следует, однако, иметь в виду, что в число вдов и вдовцов, как они учитываются при переписи населения, не входят женщины и мужчины,

овдовевшие, а затем вступившие в повторный брак. Реальное число овдовевших, стало быть, выше числа вдовых, а большие различия в доле вдовых мужчин и женщин – следствие того, что вступить в повторный брак овдовевшему мужчине было легче, чем женщине. Согласно таблице овдовения за 1896–1897 годы для Европейской России, построенной Л. Дарским, к возрасту 31 год среди не состоявших в браке женщин доля овдовевших была выше доли никогда не вступавших в брак: к 50 годам овдовевшими были 25% женщин, к 62 годам – половина, к 74 годам – свыше 75% (Тольц 1977: 141–143).

Овдовение в значительной мере компенсировалось повторными браками, почти обязательными в условиях крестьянской жизни. Как отмечают исследователи, крестьянское хозяйство «покоилось на половозрастном разделении труда», а для крестьян это породило хозяйственную и моральную необходимость «жениться при первой же возможности, делало безбрачие почти невозможным в их глазах» (Мионов 1977: 87). Поэтому большинство крестьян и крестьянок стремилось в случае овдовения вступить во второй и даже в третий брак, хотя третий брак «в крестьянской среде безусловно порицался: крестьянское мировоззрение не могло примириться с тем, что вдова или вдовец, наперекор Божьей воле оставить их одинокими, сирыми, стремятся изменить свою судьбу» (Там же, 93).

На рубеже XIX и XX веков (1896–1905) доля повторных браков в общем числе браков составляла примерно 14% для мужчин и 8% для женщин. Более 40% вдовцов и примерно 70% вдов из числа вступивших в повторный брак заключали его соответственно со вдовами и вдовцами. Среднее число вступлений в брак в Европейской России конца XIX века составляло для мужчин 1,23, для женщин – 1,04 (Тольц 1977: 145, 147, 150). Оценка соотношения состоящих в первом и повторном браке женщин, по данным переписи 1897 года и упомянутой таблицы овдовения, показала, что почти половина женщин, овдовевших в молодые годы, состояла в повторных браках (Там же, 143).

В результате, каждый мужчина и каждая женщина, дожившие до брачного возраста и сыгравшие свадьбу (один или более раз), жили в браке в среднем четверть века. А если учесть, что вне брака в России оставались очень немногие (см. табл. 4.1), эта цифра может быть отнесена ко всему взрослому населению.

Что же представляла собой эта четвертьвековая жизнь в браке?

С. Соловьев, описывая древние русские семейные порядки, отмечал, что «отношения мужа к жене и родителей к детям в древнем русском обществе не отличались особенною мягкостью. Человек, не вышедший из родовой опеки, становился мужем, т.е. с ним соединяли существо, неизвестное ему прежде, с которым он прежде не привык встречаться как с существом свободным. Молодой человек после венца впервые встречался с существом слабым, робким, безмолвным, которое отдавали ему в полную власть, которое он был обязан *учить*, т.е. бить, хотя бы и *вежливоенько*, по правилу Домостроя» (Соловьев VII: 130–131). В словах Соловьева выражена позиция просвещенного XIX века, которому он и противопоставляет нравы Древней Руси: «Для старинного русского человека не было того необходимого переходного времени между детской и обществом, которое у нас теперь наполняется учением или тем, что превосходно выражает слово *образование*. В древней Руси человек вступал в общество прямо из детской, развитие физическое

нисколько не соответствовало духовному, и что же удивительного, что он является перед обществом преимущественно своим физическим существом» (Там же, 128).

Однако ведь и в XIX веке образование коснулось далеко не всех жителей России, так что большинство россиян переходили из детского во взрослое состояние без всяких промежуточных ступеней, а вступление в брак лишь формально отмечало точку этого перехода: «малый» становился «мужиком». «До брака крестьянский парень, хотя ему было и за 20 лет, никем в деревне всерьез не воспринимался. Он — „малый“ ... Только после брака „малый“ становился настоящим „мужиком“, т.е. приобретал права и обязанности полноценного члена семьи и общины» (Миронов 1999: 161). Не удивительно поэтому, что многое из тех отношений, которые столь критически оценивал С. Соловьев, дожило и до XX столетия.

В России уже давно пытались хоть как-то ограничить браки по принуждению. С. Соловьев цитирует патриарший указ XVII века, предписывавший священникам «накрепко допрашивать» женихов и невест, а также их родителей, «по любви ли и согласию друг другу супружествуются, а не от насилия ли или неволи» (Соловьев VII: 478). М. Ломоносов призывал «венчающим священникам накрепко подтвердить что[б] они, услышав где о невольном сочетании, оно не допускали» (Ломоносов 1952: 385). Но на деле еще и в XIX веке молодые люди очень часто вступали в брак по выбору родителей, а не по своему собственному. При этом, хотя брак всегда понимался как интимный союз мужчины и женщины, волею обстоятельств при заключении брака на первый план чаще всего выходили экономические и социальные соображения. В патриархальной семье на женщину смотрели прежде всего как на семейную работницу, способность работать нередко была главным критерием при выборе невесты. Г. Успенский свидетельствовал, что семьи в русской деревне иной раз именовались «запряжками», причем наименования для семейных отношений также нередко брались из сельскохозяйственного лексикона: женился — «влез в хомут», или «походи-ка в моих оглоблях», или «натрешь холку-то» и т.д. (Успенский 1956б: 447–448).

«Один из мотивов брака — недостаток рабочих рук, при этом взаимное влечение далеко не всегда служит побудительной причиной для заключения брака». «Главная роль брака в том, что в доме появляется лишняя работница. Влечение молодых друг другу — второе дело». «Парень может указать на девицу, которая ему нравится, но, как правило, невесту подбирают для парня родители, увидев, что нужны лишние руки или что парень слишком „зло гуляет“ (при этом „рубят дерево по себе“). В невесте ценится сила, способность к работе, приданое и уже в последнюю очередь нравственные качества. В женихе ценится семья, откуда он родом (численность этой семьи, достаток, дом и обзаведение), личный заработок, трезвость и кроткий нрав» (Быт 1993: 241–242). «Взгляды крестьян на брак как на имущественную сделку получали выражение и в том, что в качестве сватов привлекались, как правило, те же лица, которые служили посредниками при покупке лошади» (Оршанский 1879: 284).

Вступление в брак было почти всеобщим. «Случаи безбрачия в деревнях очень редки. Бывает, что некоторые девицы остаются девственницами, но мужчин — старых холостяков совсем не видать» (Быт 1993: 278).

Возраст вступления в брак в России в XIX веке был выше, чем в XVII или XVIII веках, но все же, как мы видели, заметно ниже, чем в Западной Европе. В брак вступали очень молодые, незрелые люди, почти дети, еще не готовые чувствовать по-настоящему и делать самостоятельный выбор. В этом сказывалась своя мудрость: женить старались помоложе — «пока половой инстинкт заглушает в парне все остальные соображения, пока воля послабее, чтоб не женился по собственному желанию да не выбрал неугодной жены» (Внуков 1929: 25). «Парней женят до призыва, т.е. до 20 лет, чтобы привязать к дому, девиц выдают замуж с 18–23 лет, чтобы дольше пользоваться их заработком» (Быт 1993: 243).

Все обстоятельства и традиции крестьянской жизни очень сильно ограничивали свободу выбора спутника жизни. «Поскольку браки устраиваются лишь по согласию родителей, то браков по обоюдному желанию жениха и невесты не бывает (невесту часто ставят в известность, что ее *затили*, т.е. просватали). Отказов от венчания нет, говорят: „Я бы и того, да воля батюшки мово“ (Быт 1993: 245). Возможно, это признание слишком категорично, несомненно, были браки и по взаимной склонности жениха и невесты, но то, что, как правило, не она была главным мотивом соединения двух молодых людей, отмечалось многократно. «Браки без согласия жениха и невесты случаются, и нередко. Девушки при этом более беззащитны. Случается, что подобные браки приводят к прелюбодеянию той или другой стороны, и живут тогда „на одно горе“. Отказов от венчания, несмотря на это, не было. Браки богатых с бедными заключаются очень редко, „богатые рождаются с богатыми, а бедные — с бедными“. Исключения бывают в том случае, если против богатства ставятся высокие нравственные качества, физическая сила, малосемейность жениха или невесты» (Быт 1993: 245).

Ходу назад после женитьбы не было, оставалось жить по старинной формуле: «стерпится — слюбится». Следовало ли удивляться, что «попадают жены, что по году и по два не зовут даже своих мужей по имени; долгое время дичатся их, избегают оставаться наедине; обращаются с ними грубо, как бы обиженные или раздраженные чем-либо» (Звонков 1889: 127). «Малый», становясь «мужиком» в очень молодом возрасте и продолжая жить в составе отцовской семьи, оставался человеком несамостоятельным. А положение женщины было еще хуже: она не только зависела от мужа, но, войдя в большую семью, оказывалась также в зависимости от свекра, свекрови, других мужчин в семье, их жен и т.д. Она сразу же становилась одной из семейных работниц, и эта ее роль находилась в постоянном противоречии с ее же ролями жены и матери. Но были и другие стороны ее зависимого положения в семье, о которых чаще принято было умалчивать. Лишь «за последнее время выбивается наружу... грустное и оскорбительное явление снохачества» (Там же, 129). О снохачестве тогда много писали. По свидетельству автора конца XIX века, «часто приходится слышать распространенный по всей России рассказ о том, как тянули колокол и до тех пор не могли поднять его, пока не были удалены снохачи» (Богаевский 1889: 17). «В большой семье ни сила, ни ум, ни характер, — ничто не спасет женщину от подчинения и связанных с ним притеснений... Значение ее как жены здесь стоит на втором плане. Ее муж — не главный в семье, а потому и она должна определить свои отношения не к нему одному, а прежде всего к другим членам семьи» (Желобовский 1892: 40).

Несуверенность супружеской семьи, ее подконтрольность ограничивали реализацию ее возможностей, блокировали развитие ее внутреннего мира, интимного, эмоционального характера внутрисемейных отношений. Супружеская семья была встроена в систему связей, существенных для жизнедеятельности большой семьи, в состав которой она входила, чрезвычайно чувствительна к обстановке в этой семье, зависима от нее. Ее же собственные внутренние связи и отношения, не имея достаточной самостоятельности, оставались неразвитыми, не играли в жизни людей той особой роли, какую они приобрели в наше время. А потому и каждый отдельный человек ощущал себя прежде всего колесиком сложного механизма большой семьи, обязанным исправно исполнять свой долг по отношению к ней, и лишь в очень малой мере видел в семье среду для раскрытия и реализации своей индивидуальности. Такая семья не была той социализирующей средой, в которой могла сложиться независимая, индивидуализированная человеческая личность. *Человек для семьи* — таков принцип, на котором держались испокон веку патриархальные семейные отношения.

«Если мы захотим вникнуть во внутреннюю жизнь нашей избы, — писал И. Киреевский, — то заметим в ней то обстоятельство, что каждый член семьи при всех своих беспрестанных трудах и постоянной заботе об успешном ходе всего хозяйства, никогда в своих усилиях не имеет в виду своей личной корысти. Мысли о собственной выгоде совершенно отсекаются от самого корня своих побуждений. Цельность семьи есть одна общая цель и пружина... В прежние времена это было еще разительнее: ибо семьи были крупнее и составлялись не из одних детей и внуков, но сохраняли свою цельность при значительном размножении рода... И теперь еще можем мы ежедневно видеть, как легко, при важных несчастьях жизни, как охотно, скажу даже, как радостно один член семейства всегда готов добровольно пожертвовать собою за другого, когда видит в своей жертве общую пользу своей семьи» (Киреевский 1979: 284).

Приведенные слова И. Киреевского правильнее, видимо, воспринимать не как описание действительной жизни, а как отражение социокультурного идеала своей эпохи, идеализацию и романтизацию прошлого. Но жизнь всегда исполнена противоречий, и никакой идеал не воплощается в жизнь с буквальной точностью. Определенная напряженность в отношениях большой и малой, «отцовской» и «супружеской» семей существовала, видимо, всегда, но чаще — в скрытом, латентном виде. Она редко перерастала в открытый конфликт — слишком неравными были силы, слишком очевидными — преимущества большой семьи перед малой. Все условия многовековой, если не тысячелетней крестьянской жизни вели к формированию идеала «человек для семьи» как основополагающего принципа традиционной семейной жизни.

Но что-то сдвинулось во второй половине XIX столетия, стали заметно меняться экономические и демографические основы существования семьи — и зашатался весь патриархальный семейный уклад, земля стала уходить у него из-под ног. Поблек прежний семейный идеал, и стало быстро меняться реальное поведение людей.

Замечательный анализ реальной семейной ситуации дан, например, в рассказе Л. Толстого «Хаджи-Мурат». Крестьянин Авдеев вместо брата пошел в солдаты, ибо, говоря словами И. Киреевского, «видел в своей жертве общую пользу семьи». «Ведь я охотой за брата пошел, —

рассказывал Авдеев. — У него ребят сам-пять, а меня только женили. Матушка просить стала. Думаю: что мне, авось, попомнят мое добро». Авдеев сознает, что поступил в соответствии с нравственным идеалом, однако же не только не испытывает радости от этого, но постоянно тоскует до того, что, как он сам говорит, «другой раз..., кажись, и сам не знаю, что бы над собой сделал». «И больше с того и скучаю, что зачем, мол, ты за брата пошел. Он, мол, теперь царствует, а ты вот мучаешься. И что больше думаю, то хуже. Такой грех, видно». Любопытно поведение и других членов семьи Авдеевых. Старик-отец тоже считал поступок сына нравственным, «по закону, как разумел его старик, надо было бездетному идти за семейного». Но ушедший в солдаты Петруха был замечательным работником, и старик жалел о нем и изредка попрекал старшего сына: «Дурак Петруха, что за тебя пошел. Из тебя бы в солдатах дурь-то повыбили бы, а он-то дома пятерых таких, как ты, стоил». Когда семья получает известие о том, что «Петруха убит на войне, защищая царя, отечество и веру православную», то мать «повыла, покуда было время, а потом взялась за работу», жена «тоже повыла, узнав о смерти любимого мужа, с которым она пожила только один годочек. Она... горько упрекала Петрушу за то, что он пожалел брата, а не пожалел ее, горькую, по чужим людям скитающуюся. В глубине же души Аксинья была рада смерти Петра. Она была вновь брюхата от приказчика, у которого она жила, и теперь никто уже не мог ругать ее, и приказчик мог взять ее замуж, как он и говорил ей, когда склонял ее к любви».

История Петра Авдеева из «Хаджи-Мурата» тем более примечательна, что она почти в точности воспроизводит историю Платона Каратаева из «Войны и мира». Но в «Войне и мире» эта история звучит как сусальная иллюстрация идеального принципа «человек для семьи», тогда как в «Хаджи-Мурате» она как бы заново переписана в реалистическом ключе и помогает почувствовать истинный характер «внутренней жизни» крестьянской избы намного лучше, нежели обобщенная, декларативная формула Киреевского (роман «Война и мир» писался в 60-е годы XIX века, «Хаджи-Мурат» — в 1896–1904 годах). Киреевский (вероятно, и Толстой, когда писал «Войну и мир») восхищался старинными «формами общежития», которые «не могли заглушить в человеке его семейного смысла». Но в «Хаджи-Мурате» мы видим, как сама жизнь заглушала его, как в человеке пробуждалось «свое», индивидуальное, и прежние привычные семейные отношения начинали восприниматься как нестерпимые оковы. «Все зашаталось, все рвется из тисков, из нескладных условий, требует своего; все это, задохнувшееся в деспотизме свекрови, мужа, жены, брата, рвется на свободу, не хочет покоряться...» (Успенский 1956д: 235).

В этом «требует своего» — там, где еще недавно торжествовало общее, — ключ к пониманию семейного разлада в российской деревне. До поры растворение человека в семье было оправдано экономической и демографической необходимостью, интересами физического выживания. Но стоило этим двум необходимым немного ослабеть, и жесткая предопределенность человеческой судьбы лишилась своего оправдания, привычные семейные отношения перестали удовлетворять людей, члены семьи начали «бунтовать». Тогда-то и вышел на поверхность скрытый конфликт большой и малой семьи, «работы» и «жизни». Патриархальная семья оказалась в кризисе.

Кризис этот раньше всего затронул городские слои русского общества, прежде также строившие свои семейные отношения по образцам, близким к крестьянским. Упоминаниями об этом кризисе заполнена русская литература второй половины XIX — начала XX века — от «Анны Карениной» Л. Толстого или «Грозы» А. Островского до статей неизвестных или забытых авторов в научных и публицистических изданиях.

Вот Ф. Достоевский пишет еще с надеждой: «Я... обрадовался мысли, что беспорядки и бесчинства в семейном быту народа, даже среди такой обстановки, как в Петербурге, все же пока исключения, хотя, быть может, и многочисленные...» (Достоевский 1980: 113). Вот Г. Успенский размышляет уже не о петербургской — о деревенской семье: «В настоящее время в жизни крестьянской семьи есть такое безмерное скопище неразрешимо трудных задач, что если и держатся иной раз более или менее крепко большие крестьянские хозяйства (я говорю о подгородних), то только, так сказать, соблюдением внешнего ритуала, а внутренней правды тут уже мало» (Успенский IV: 302). Вот неожиданное и очень современное размышление Л. Толстого: «...Семья эволюирует, и потому прежняя форма распадается. Отношения полов ищут новой формы, и старая форма разлагается. Какая будет новая форма, нельзя знать, хотя многое намечается. Может быть большое количество людей, держащихся целомудрия; могут быть браки временными и после рождения детей прекращаться, так что оба супруга после родов детей расходятся и остаются целомудренными; могут дети быть воспитываемы обществом. Нельзя предвидеть новые формы. Но несомненно то, что старая разлагается...» (Толстой 1913: 247). Вот выдержки из более чем столетней давности научной книги, посвященной изучению крестьянского быта России: «С каждым днем, с каждым годом прежние формы быта нашего крестьянина рушатся под напором так называемой городской культуры, уничтожающей остатки древних вековых устоев крестьянской жизни» (Сборник 1889: II–III).

Противостояние старого и нового все более раскалывало Россию, и линия этого раскола прошла через каждую семью.

4.3 Бунт на семейном корабле

Россия была не первой страной, столкнувшейся с кризисом традиционной семьи. К началу XX века многие западные страны уже прошли через него, традиционная большая семья стала достоянием истории, уступила место высококомобильной, малой, нуклеарной, «супружеской» семье. «За время плаванья, которое должно было привести семью в современность..., она отделилась от окружавшей ее общины, воздвигнув — чтобы защитить себя — непреодолимую стену частной жизни. Она прервала свои отношения с дальней родней и ослабила даже те, что поддерживала с близкими родственниками... Как удалось семье незаметно покинуть свою стоянку у причала традиции? ...Команда корабля — мать, отец и дети — вот кто с радостью разорвал державшие его путы, чтобы отправиться в свое собственное плаванье» (Shorter 1977: 11–12). Эти слова относятся к западноевропейской семье, но то же самое — пусть и позднее — произошло и с семьей российской.

Быть может, главной силой, взорвавшей изнутри старинный семейный уклад и ускорившей его кризис, стала и наиболее придавленная этим укладом женщина.

Хотя определенные шаги к изменению места женщины в семье и обществе были сделаны еще петровскими реформами, благодаря которым, по словам С. Соловьева, «получила признание личность женщины вследствие освобождения ее из терема» (Соловьев IX: 458), и в XIX веке идеи женского равноправия не были популярны в России и воспринимались как нечто чуждое русской традиции и русской культуре.

И. Киреевский находил «первый зародыш знаменитого впоследствии учения о всесторонней эмансипации женщины» в «нравственном гниении высшего класса» европейского общества (Киреевский 1979: 285). В ненужности, более того, во вреде эмансипации был убежден и Л. Толстой, он много писал об этом. Но, видимо, не только в европейской заре и «высших классах» коренились причины нарастающей в России борьбы за расширение женских прав. Наверно, не следует недооценивать вклада в борьбу за женское равноправие просвещенных и интеллигентных женщин. Однако решающие события происходили все же не в великосветских салонах. Главной ареной перемен в положении женщины была деревня.

По мере того как в деревню проникали городские заработки, городские формы труда и быта, вообще новые веяния городской жизни, по-новому воспринималось и положение женщин в семье, нарастало их недовольство. Интуитивное, плохо осмысленное, оно, тем не менее, было ответом на менявшиеся условия и само было частью перемен, которые подспудно вызревали в России, причем в тех общественных слоях, что и слыхом не слыхивали о европейском «нравственном гниении». Протест против деспотизма патриархальной семьи был первым естественным проявлением такого недовольства. «Мужик каждый говорит, что все раздлены идут от баб, потому что народ нынче „слаб“, а бабам воля дана большая, потому де, что царица малахвест бабам выдала, чтобы их не сечь...»; «весь бунт от баб: бабы теперь в деревне сильны» — свидетельствовал осведомленный современник (Энгельгардт 1987: 359, 361). «Чья власть удивительно возросла — тихо, незаметно, под шум перемены отношений — это власть матери. Она отвоевала не только долю юридической свободы, но заставила поделиться мужа и верховными правами родительскими» — вторил ему другой (Звонков 1889: 64).

«Бабий бунт» в деревне — лишь одно, хотя и очень яркое проявление назревавших, начинавшихся семейных перемен. Рядом с «женской» их линией видна еще одна — «детская».

В народном сознании было глубоко укоренено представление о безграничных правах родителей по отношению к детям и столь же безграничном долге детей по отношению к родителям. С критикой этого представления мы сталкиваемся еще в XVIII веке (отцовско-наставление в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Радищева: «Изжените из мыслей ваших, что вы есте под властью моею. Вы мне ничем не обязаны... Не должны вы мне ни за вскармливание, ни за наставление, а меньше всего за рождение... Вкушая веселие, природой повеленное, о вас мы не мыслили...»), но даже в конце XIX века родительская власть была очень велика. Все еще «встречалось выражение „отец заложил сына“ (т.е. отдал в работу на определенный срок, а деньги взял вперед)» (Богаевский 1889: 19). Родителям принадлежало решающее слово,

когда речь шла о женитьбе, а особенно о замужестве детей. Даже и более поздний автор отмечает, что «в крестьянском мировоззрении отсутствует пункт об ответственности родителей перед детьми, но зато ответственность детей перед родителями существует в преувеличенном виде» (Внуков 1929: 17).

И все же к концу XIX века старые семейные порядки в отношениях родителей и детей уже трещали по швам, ослабли и былое уважение родителей, и былая покорность им, хотя внешне многое еще сохранялось. Современник свидетельствует: «В отношениях детей к родителям до сих пор еще живет и действует в вопросе о браках принцип невмешательства детей в распоряжение их судьбою. Для недалекого прошлого это можно было утверждать абсолютно — теперь не то... Все более и более захватывает себе право сельская молодежь, а в делах брака особенно падают авторитет родительский»; «За последнее время все более и более обозначаются границы их [родителей] действительной власти» (Звонков 1889: 68–69, 89). В одном из очерков Г. Успенский рассказывает о старике, которого, по его словам, сын выгнал из дому. Другой старик не верит ему. «Пустое... Это они так, ... славу о себе пускают... Как это он может отца своего прогнать, когда ему отец все предоставил?» Автор же замечает от себя: «Возможность существования легенды о том, что сын прогнал отца, возможность даже с помощью ее распускать о себе хорошую молву невольно говорила о том, что в деревенских порядках не все хорошо и благополучно» (Успенский 1956а: 300).

В той мере, в какой власть родителей еще сохранялась, она все больше держалась на одной лишь прямой экономической зависимости детей. «Не будь... материальной зависимости, изменись хотя немного экономический склад крестьянской жизни — и вы увидели бы, как открыто и бесцеремонно стали бы заявлять дети о своей свободе — требовать законных прав своих», — писал автор конца позапрошлого века (Звонков 1889: 93). Позднее, уже в начале прошлого века, подобная мысль звучала в некоторых выступлениях депутатов-крестьян в Государственной думе: «Не приносите вреда детям уменьшением власти родителей... Имейте в виду, что часто послушание детей, необходимое для благоденствия крестьянской семьи, находится в зависимости от прав родителей на имущество» (Прения 1911: 67).

На протяжении всей второй половины XIX века перемены в экономических условиях жизни семьи и во внутрисемейных отношениях расшатывали устои большой неразделенной семьи и нарастало число семейных разделов. С каждым днем становилось яснее: преимущества большой семьи уже не перекрывают ее недостатков, жить в такой семье становилось все более тягостно. Скрытые от глаз внутренние антагонизмы большой патриархальной семьи вышли наружу. «Все крестьяне осознают, что жить большими семьями выгоднее, что разделы причиною обеднения, а между тем все-таки делятся. Есть же, значит, этому какая-нибудь причина? Очевидно, что в семейной крестьянской жизни есть что-то такое, чего не может переносить все переносящий мужик», — писал автор знаменитых писем «Из деревни» А. Энгельгардт, последовательный противник семейных разделов (Энгельгардт 1987: 382). И эта нота тягостности жизни в большой семье звучит как лейтмотив во всем, что писалось о русском крестьянском быте в конце XIX века — и рядовыми наблюдателями, и тогдашними властителями дум.

Иногда еще можно слышать благостное описание жизни в большой семье: «Из дружной большой семьи, даже если остро ощущаются теснота и неудобства, дети не хотят отделяться, говоря: „Долго ты батюшко, и ты матушка, терпели тесноту и труд с нами, так потерпите еще хоть немного, и поживем все вместе по-старому, а порознь еще успеем“. Дом в таких семьях — полная чаша» (Быт 1993: 196). Но гораздо чаще звучат другие нотки: «Спросите любого из здешних крестьян, где лучше работать, в большой ли или в малой семье, он ответит вам всегда одно и то же: „В большой семье беспример лучше робить“ ... Но предложите крестьянину вопрос: „А где лучше жить — в большой семье или в маленькой?“ И он вам тот час же ответит: „Не приведи бог никому жить в большой семье!“» (Тихонов 1891: 65–66). «С каждым годом растет стремление крестьян веками выработанную форму общечития, большую семью, заменить новой, которая дает и больший простор инициативе отдельного лица, и возможность самостоятельного, независимого существования, растет стремление заменить большую семью малой» (Богаевский 1889: 5). «Больших семей мало и с каждым годом становится все меньше. Единственный женатый сын еще живет у отца, а двое женатых сыновей никогда долго не уживутся. Если у отца живы свои старики-родители, то они уже никакого голоса не имеют, довольствуясь тем, что сын кормит их. Семья одного крестьянина, с которым живут трое женатых сыновей, а снохи и братья находятся между собой в согласии, — один из трех редких случаев сохранения большой семьи в описываемом приходе» (Быт 1993: 181).

К началу XX века российское общество оказалось перед лицом острейших экономических и социальных проблем, на фоне которых демографические и семейные неурядицы могли выглядеть не самыми главными. Во всяком случае, о них говорили и писали намного меньше, чем, скажем, об экономической отсталости, о земельном вопросе, о бедности или бесправии народа, о необходимости политических перемен и т.д. Но все же нельзя сказать, чтобы эта сторона народной жизни совсем не привлекала внимания. Огромная смертность, учащавшиеся попытки уклониться от рождения детей или отказ от детей, уже рожденных, «падение семейных нравов», женское эмансипационное движение в городах и «бабий бунт» в деревне, непокорность взрослых детей и ослабевавшая родительская власть, умножавшиеся крестьянские семейные разделы — все это говорило об обесценении вековых заповедей семейной жизни, об усиливающемся ее разладе. Разлад был замечен всеми и стал объектом критики, самокритики русского общества, все более осознававшего необходимость обновления. И речь идет, в первую очередь, не о словесной критике, исходящей от каких-то продвинутых писателей или политиков. Ее содержало само поведение людей — и в городе и в деревне, — с каждым годом все более отходившее от традиционного канона. А то, что писалось в газетах и журналах, в художественной литературе, было лишь отражением и попытками осмысления происходящего.

Изменения в семейной и вообще частной жизни людей были лишь одной из сторон всеобщих перемен, переживаемых Россией в пореформенный период, когда четко обозначилось ее стремление превратиться в современную промышленную страну. За четыре десятилетия, последовавшие за отменой крепостного права, все прежние равновесия были нарушены, а новые — еще не созданы. Российское общество вступило в полосу тяжелого, затяжного кризиса, не могла избежать этого кризиса и вся система семейных и демографических отношений¹.

Впрочем, то самое развитие, которое свергло частную жизнь людей в кризис, создало возможности и выхода из него. И речь идет не только об экономических сдвигах, надломивших древние устои этой жизни, но и о собственно демографических переменях.

Экономическая необходимость предписывала определенные формы организации семейного производства, разделения труда в семье и т.п., но семья и общество всегда вынуждены были считаться также с демографической необходимостью, которая ставила предел даже и экономическим требованиям. Ей были подчинены многие важнейшие нормы и стереотипы поведения. Культурная и религиозная традиция отводила высокое место ценностям

¹ Иногда полагают, что слово «кризис» здесь неуместно, «Кризис – миф, пущенный в оборот политиками и политиканствующими профессорами сначала для оправдания свержения монархии, затем захвата власти большевиками. На самом деле, дореволюционное российское общество XIX — начала XX века испытывало прогрессивную социальную трансформацию во всех сферах жизни, быстрый и успешный, хотя и болезненный переход от одной социально-политической системы к другой, который, как всякий переход, сопровождался проблемами, трудностями, появлением лишних и недовольных людей» (Социальная история 2000: 335). Но, как разъяснил нам еще В. Даль, «кризис» и есть «перелом, переворот, решительная пора переходного состоянья». Такого же понимания придерживаются и современные словари, например, «Большой энциклопедический словарь»: «резкий, крутой перелом в чем-либо, тяжелое переходное состояние».

материнства и отцовства и в то же время налагала суровые запреты на маргинальные формы поведения, которые могли позволить женщине или супружеской паре уклониться от выполнения своего родительского долга. Никакое своеволие не допускалось, принцип «человек для семьи» находил здесь одно из самых прочных своих оснований. Снижение же смертности и рождаемости стало двойным сдвигом, резко расширявшим демографическую свободу семьи и ее членов и наносившим этому принципу непоправимый урон.

В самом деле, чем меньше времени, сил, энергии требует от женщины и семьи биологическое воспроизводство, тем больше они могут расходоваться — без ущерба для продолжения рода — на воспроизводство социальное: саморазвитие и самореализацию личности, организацию межпоколенного взаимодействия, социализацию детей, передачу и обновление культурных образцов, производство материальных благ и т.п. Этот перечень можно продолжать, но важно не столько его конкретное содержание, сколько сам факт появления перечня, разнообразия возможностей, индивидуального выбора. Старые же семейные порядки никакого выбора не признают, семейные роли и семейные обязанности строго раз и навсегда закреплены, что и оправдано экономической и демографической необходимостью, интересами физического выживания. Стоит этим двум необходимым хотя немного ослабеть, и жесткая предопределенность человеческой судьбы теряет свое оправдание. Привычные формы демографического и семейного поведения перестают удовлетворять людей, появляется новая активность, направленная на то, чтобы заполнить расширившееся пространство свободы, добиться более долгой жизни для себя и своих детей, отстоять интимность своей семейной жизни, открыть для себя новые социальные роли, полнее реализовать себя.

Пусть в России конца XIX — начала XX века все это было доступно лишь узкому слою людей и недостаточно осознано всем обществом, а все же движение уже началось, многое предощущалось, кое-что было известно из примера более продвинутых европейских стран. Разлад в старых семейных порядках, конечно, тревожил современников, но было и ожидание желаемых позитивных перемен.

Конечно, как всегда бывает в подобных случаях, «утописты прошлого» не желали замечать ничего, кроме потерь, и настойчиво звали назад — не только Россию, но и Европу. «Из сердца надо вырвать французскую революцию. Вся Европа XIX века была под *впечатлением* этой революции, и „цивилизация XIX века“... есть лишь „закрепление позиций“ и „расширение позиций“ французской революции... Забыть... Забыть ее... Забыть все... Европа должна быть совершенно новою. Тихою. Богобоязненною. Нищелюбивою. Помнить о смерти, — особенно!! Пользоваться жизнью — скромно. Жалеть сирот. Сострадать нищему. Многоплодною. Детолюбивою. М.б., многоженною», — писал В. Розанов (1994: 159).

Но в России было достаточно здравомыслящих людей, которые понимали несбыточность подобных призывов, ощущали неустрашимую напряженность, внутреннюю проблемность всей «семейной» ситуации и были способны к более развитым формам рефлексии. «Между миром и семьей, — утверждал Н. Бердяев, — ...существует глубокая неистребимая противоположность. Семья сама претендует быть миром и жить по своему закону, отнимает человека от мира, нередко убивает

его для мира и для всего, что в мире творится. Между миром и семьей существует гораздо больший антагонизм, чем между миром и Христом... И не только между семьей и миром существует противоположность, противоположность существует между семьей и любовью, в семье слишком часто хоронится любовь» (Бердяев 1989а: 338). И он же писал — правда, много позднее: «С формами семьи связана была тирания, еще более страшная, чем тирания, связанная с формами государства. Иерархически организованная, авторитарная семья истязает и калечит человеческую личность. И эмансипационное движение, направленное против таких форм семьи..., есть борьба за достоинство человеческой личности... Нужно отстаивать более свободные формы семьи, менее авторитарные и менее иерархические. Евангелие... требует свободы от рабства у семьи» (Бердяев 1972: 193–194).

Критика старых семейных отношений и поиск новых — отчасти под влиянием внутренних перемен, но в немалой степени и под влиянием усваиваемых постепенно западных образцов — быстро нарастали в России на рубеже XIX и XX веков, нередко принимали причудливую форму, но, в любом случае, свидетельствовали о том, что прежние семейные порядки все меньше удовлетворяли людей, требовали замены.

Было бы хорошо, если бы такая замена, позволяющая преодолеть кризис традиционных демографических и семейных отношений, произошла в результате их плавной эволюции, постепенной выработки новых форм и норм демографического и семейного поведения, отвечающих новым экономическим и социальным условиям, которые тоже складывались бы постепенно. Но в условиях быстро меняющейся России на это было мало шансов, у нее просто не было времени на постепенные — от поколения к поколению — изменения. Страна стремительно приближалась к социальному взрыву, в котором предстояло сгореть и старой семье.